

Jared Diamond

ДЖАРЕД ДАЙМОНД ДЖЕЙМС РОБИНСОН

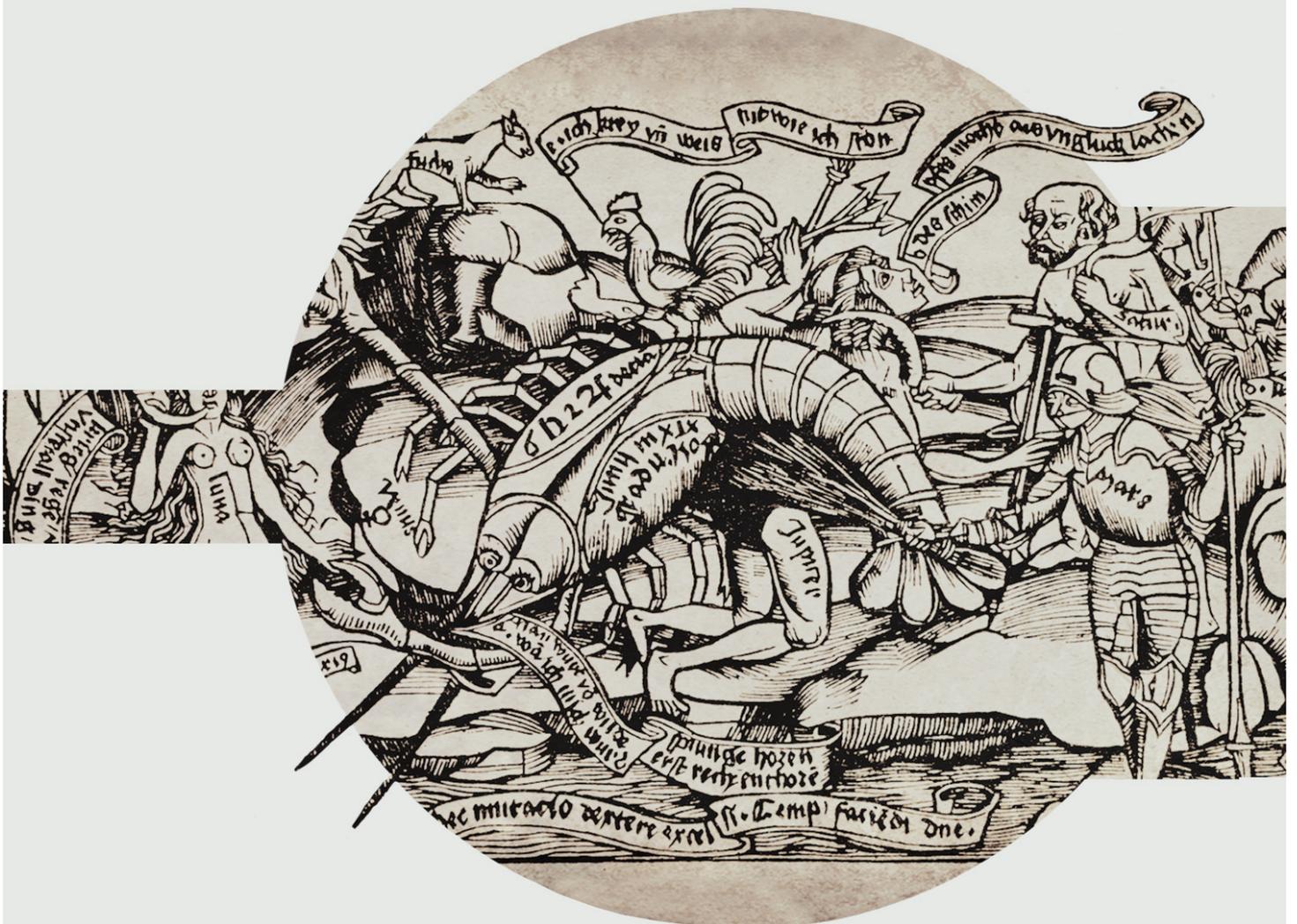
James Robinson

Natural Experiments of History

Естественные

ЭКСПЕРИМЕНТЫ

В ИСТОРИИ



Джеймс Робинсон

**Естественные
эксперименты в истории**

«АСТ»

2010

УДК 008
ББК 71.05

Робинсон Д. А.

Естественные эксперименты в истории / Д. А. Робинсон —
«АСТ», 2010

ISBN 978-5-17-098213-4

Самое интересное в современной науке происходит на стыке дисциплин, в плодородных областях, возникших на месте жестких, косных границ, еще недавно разделявших гуманитарное и естественнонаучное знание. Сборник «Естественные эксперименты истории» под редакцией известнейшего биолога, антрополога и культуролога Джареда Даймонда («Ружья, микробы и сталь», «Коллапс», «Мир позавчера») и экономиста Джеймса Робинсона («Почему одни страны богатые, а другие бедные») – отличная иллюстрация этого процесса. Авторы сборника эссе – историки, культурологи, экономисты, – позаимствовав инструменты у математиков и статистиков, под совершенно новым углом рассматривают исторические события разных эпох и регионов. Почему между островами Тихого океана, заселенными одним и тем же народом – древними полинезийцами, – со временем возникли столь мощные культурные различия? Как статистически измерить последствия многовековой работорговли для различных африканских государств? Что общего у взрывного роста американского фронта и бурного развития русской Сибири в конце XIX – начале XX столетий? Вот лишь некоторые вопросы, на которые пытаются ответить авторы этой необычной книги.

УДК 008
ББК 71.05

ISBN 978-5-17-098213-4

© Робинсон Д. А., 2010

© АСТ, 2010

Содержание

Пролог	7
1. Контролируемое сравнение и полинезийская культурная эволюция	15
2. Расцветающий фронтир: бум и крах в истории поселенческих сообществ XIX века	38
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Джаред Даймонд, Джеймс Робинсон
Естественные эксперименты истории
Сборник

Jared Diamond
James A. Robinson
Natural Experiments of History

© 2010 by President and Fellows of Harvard College

© Перевод. А. Курьшева, 2017

© Издание на русском языке. AST Publishers, 2018

* * *

Пролог

Контролируемый и повторяемый лабораторный эксперимент, в ходе которого экспериментатор непосредственно управляет переменными, часто называют определяющей особенностью научного метода. Это, в сущности, единственная техника, используемая в лабораторных физических исследованиях и в молекулярной биологии. Без сомнения, такой подход не имеет себе равных в том, что касается точности установления цепи причин и следствий. Но этот факт вводит лабораторных исследователей в заблуждение, провоцируя их с пренебрежением относиться к тем областям науки, где использование подобных методов невозможно.

Однако жестокая правда заключается в том, что управляемые эксперименты невозможны во многих сферах деятельности, которые общепризнанно являются науками. Это касается любой науки, занимающейся событиями прошлого, например эволюционной биологии, палеонтологии, эпидемиологии, исторической геологии и астрономии; прошлым управлять невозможно¹. Кроме того, при изучении птичьих сообществ, динозавров, эпидемий оспы, ледников или иных планет многие управляемые эксперименты, которые теоретически возможно было бы провести сегодня, тут же будут заклеены как аморальные и незаконные; нельзя же, в самом деле, убивать птиц или растапливать ледники. Поэтому приходится разрабатывать иные способы «заниматься наукой», а именно наблюдать, описывать и объяснять мир вокруг нас, а затем располагать отдельные объяснения в рамках более широкой общей картины.

В подобных ретроспективных дисциплинах часто оказывается полезным так называемый метод естественного эксперимента (*natural experiment*), он же сравнительный метод (*comparative method*). Этот подход заключается в сравнении – предпочтительно количественном и подкрепленном статистическим анализом – различных систем, схожих во многих отношениях, но различающихся как раз по тем параметрам, влияние которых мы и хотим изучить. Например, для изучения того, какое экологическое воздействие красногрудый дятел-сосун (*sphyrapicus ruber*) оказывает на родственный вид – соснового дятла-сосуна (*sphyrapicus thyroideus*), – можно сравнить горы, на которых водятся оба вида, с теми, на которых второй вид водится, а первый – нет.

Эпидемиология как наука фактически вся построена на анализе подобных естественных экспериментов в человеческих популяциях. Например, мы выяснили, какие группы крови у человека обеспечивают резистентность к оспе, не с помощью управляемых экспериментов (например, участникам эксперимента с разными группами крови делали бы инъекции либо вируса оспы, либо контрольного раствора), а в результате наблюдений над носителями разных групп крови во время одной из последних эпидемий оспы, случившейся в Индии несколько десятилетий назад. Врачи, оказавшиеся в отдаленной деревне в момент начала эпидемии, определили группы крови у жителей и затем отследили, кто заболел или умер, а кто остался здоров².

Конечно, естественный эксперимент имеет немало очевидных недостатков. Например, есть риск, что результат будет зависеть от неких дополнительных факторов, которые «экспериментатор» не позаботился принять во внимание; возможно также, что по-настоящему важными окажутся какие-то другие факторы, которые просто коррелируют с рассматриваемыми, а не сами эти последние. Подобные трудности вполне реальны – но не менее сложны и проблемы, которыми сопровождается проведение управляемого лабораторного эксперимента или

¹ Эрнст Майр не раз с глубокой проницательностью писал о различиях между историческими и неисторическими науками. См., например: *Ernst Mayr. This Is Biology: The Science of the Living World*. Cambridge, MA, 1997.

² *F. Vogel, N. Chakravarti. ABO Blood Groups and Smallpox in a Rural Population of West Bengal and Bihar (India) // Human Genetics*. 1966. № 3. P. 166–180.

нарративных исследований, не использующих сравнительный анализ. Существует огромное количество работ, посвященных тому, как избежать подобных ловушек³.

Рассмотрим, например, вопрос, который в настоящее время вызывает немалый практический интерес: способно ли курение вызвать рак? Можно написать трогательное, подробное, всеобъемлющее жизнеописание некоего конкретного курильщика, который действительно умер от рака, но это не докажет, что курение является причиной рака вообще или хотя бы в данном случае. Есть курильщики, которые не заболели раком, и есть некурящие, которые заболели. Всем нам уже известно, что существует еще много других факторов риска, помимо курения. Поэтому эпидемиологи постоянно собирают данные о тысячах или даже миллионах людей, обрабатывают их, отмечая не только фактор курения, но также особенности питания и многое другое, а затем проводят статистический анализ. Такие исследования приводят к ожидаемым и в настоящее время общепринятым выводам. Да, курение в значительной степени связано с некоторыми (но не со всеми) формами рака, однако с помощью статистического анализа можно также выявить множество других причин. Среди них: потребление жиров, клетчатки, антиоксидантов, воздействие солнечного излучения, отдельные загрязняющие вещества, определенные химикаты в пище и воде, многочисленные гормоны и сотни различных генов. Следовательно, ни один эпидемиолог даже не подумает, что можно выявить *одну-единственную* причину рака, просто рассказав историю конкретного пациента; однако путем сравнения и статистического анализа множества случаев можно достоверно определить множество причин рака. Аналогичные выводы и аналогичные сложности, с которыми еще предстоит разобраться, присущи и историческим явлениям, которые всегда имеют сразу несколько причин.

Размышляя об этом, можно прийти к выводу, что сравнения, количественные методы и статистика играют неоспоримую роль «золотой середины» в изучении истории. Историки постоянно делают заявления о том, что нечто «изменилось (увеличилось или уменьшилось) с течением времени», «это случалось чаще, чем то», «этот человек сыграл более (или менее) важную роль, чем тот, или вел себя иначе, чем тот». Однако сделать подобное заявление, не подкрепив его цифрами и не выполнив соответствующего статистического анализа, – значит претендовать на выводы из сравнения, которого вы в действительности не делали. Уже в 1979 году историк Лоуренс Стоун напоминал об этом, говоря о важности числового выражения данных:

Историкам уже не отделаться словами «более», «менее», «растет», «снижается», которые логически предполагают количественное сравнение; теперь им необходимо предоставить четкое статистическое обоснование своих утверждений. Требование количественных показателей сделало аргументы, основанные исключительно на примерах, несколько сомнительными. Критики теперь требуют статистических доказательств того, что данный пример типичен, а не является исключением из правил⁴.

³ Сложности при выявлении причинно-следственных связей в естественных экспериментах обсуждают, среди прочих: Jared Diamond. Overview: Laboratory Experiments, Field Experiments, and Natural Experiments // *Community Ecology* / eds. Jared Diamond and Ted Case. New York, 1986. P. 3–22; William Shadish, Thomas Cook, and Donald Campbell. *Experimental and Quasi-experimental Designs for Generalized Causal Inference*. Boston, 2002; *Comparative Historical Analysis in the Social Sciences* / eds. James Mahoney and Dietrich Rueschermeyer. New York, 2003; Joshua Angrist and Jorn-Steffan Pischke. *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton, New Jersey, 2008; Guido Imbens and Donald Rubin. *Causal Inference in Statistics, and in the Social and Biomedical Sciences*. Cambridge, 2008; Thad Dunning. *Improving Causal Inference: Strengths and Limitations of Natural Experiments* // *Political Research Quarterly*. 2008. № 61. P. 282–293.

⁴ Lawrence Stone. *The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History* // *Past and Present*. 1979. № 85. P. 3–24 (цитата на стр. 10–11).

В действительности же разнообразные общественные науки, изучающие человеческие сообщества, используют метод естественного эксперимента довольно бессистемно. Он широко применяется в археологии, антропологии, культурной психологии, экономике, экономической истории, политологии и социологии, а вот в истории повседневности (за исключением ее экономической части) его применяют лишь от случая к случаю. Некоторые историки ограничиваются призывами к более частому использованию метода естественного эксперимента; иные заявляют, что и так уже активно его используют; третьи и в самом деле используют, хоть иногда и неосознанно или не в полной мере пользуясь методологическими преимуществами, которые способен подарить этот подход⁵. Но многие историки не используют естественные эксперименты вовсе и даже смотрят на них скептически или враждебно – особенно на систематические сравнения с привлечением количественных данных, которые можно подвергнуть статистическому анализу.

У этого скептицизма множество причин. Одна из них заключается в том, что историческую науку в разных традициях относят то к гуманитарным дисциплинам, то к естественным. В одном крупном американском университете, например, историки-бакалавры находятся в ведении декана факультета гуманитарных наук, а магистры – общественных. Многие из тех, кто решает учиться на историка, а не на экономиста или политолога, выбирают эту профессию именно потому, что не хотят зубрить математику и статистику. Историки часто посвящают свою карьеру изучению какой-то одной страны или географической области или одной конкретной эпохи. Так как для всестороннего изучения определенного региона и периода требуются определенные знания и опыт, студенты начинают сомневаться в том, что историк, который не посвятил всю свою жизнь их приобретению, способен со знанием дела писать об этих регионе и периоде или что они сами могут компетентно сравнить «свою» область с другими. Длительное обучение, которое проходят историки, накрепко вбивает в них общепринятые представления о том, что включает, а что не включает в себя история, а также о том, какие методы являются и не являются наиболее подходящими для ее изучения. Многие американские ученые отреагировали на дискуссию, начатую одной из школ количественной истории, известной как клиометрия, тем, что стали еще меньше пользоваться количественными методами, словно бы решив, что слабые места данного подхода, отмеченные его критиками, можно распространить на весь количественный анализ в принципе⁶.

Историки часто считают, что человеческая история в корне отличается от истории рака, шимпанзе или ледников, на том основании, что она гораздо более сложна и включает в себя мотивы множества отдельных людей, которые будто бы невозможно измерить или выразить в цифрах. Однако рак, шимпанзе и ледники тоже очень сложны, и их изучение чревато еще большими затруднениями, поскольку они не оставляют никаких письменных свидетельств, которые могли бы рассказать об их мотивах. К тому же многие ученые, такие как психологи, экономисты, исследователи государственного устройства и некоторые биографы, теперь имеют возможность оценивать и разбирать мотивы отдельных людей с помощью ретроспективного анализа письменных источников, оставленных уже ушедшими участниками событий, а также бесед с еще живущими свидетелями.

⁵ Примером может послужить дискуссия, вызванная работой Роберта Бреннера (*Robert Brenner. Agrarian Class Structure and Economic Development in Preindustrial Europe // Past and Present. 1976. № 70. P. 30–75*). Статьи, участвовавшие в дискуссии, можно найти в сборнике: *Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-industrial Europe / eds. T. H. Aston and C. H. E. Philpin. New York, 1987*. Обсуждался вопрос того, почему Черная смерть имела такие различные последствия в Западной и Восточной Европе. Если использовать термины, которые мы объясним в послесловии к этой книге, в ходе дискуссии рассматривалось, как общее возмущение привело к разным последствиям в разных регионах в результате различных начальных условий.

⁶ Полемику по теме клиометрии рассматривают Роберт Уильям Фогель и Дж. Р. Элтон (*Robert William Fogel and G. R. Elton. Which Road to the Past? Two Views of History. New Haven, CT, 1983*).

В этой книге мы стараемся продемонстрировать использование сравнительного метода при изучении истории и рассмотреть несколько способов компенсации его очевидных недостатков, предоставив вашему вниманию восемь исследований, изложенных в семи эссе (эссе № 4 содержит сразу два исследования). Наша целевая аудитория – это не только те историки, кому сравнительный метод по душе (или, по крайней мере, не абсолютно противен), но также более широкий круг специалистов в сфере родственных общественных наук, которые этот метод уже активно используют. Однако мы пишем не только для состоявшихся ученых, но и для студентов. Мы не выставляем себя знатоками статистики или количественного анализа. Восемь статей (две из них написаны в соавторстве) принадлежат перу одиннадцати авторов, двое из которых – историки традиционной закалки, выпускники исторических факультетов, в то время как другие занимаются археологией, наукой о бизнесе, экономикой, экономической историей, географией и политологией. Исследования сформированы таким образом, чтобы покрывать определенный спектр подходов к сравнительной истории по четырем параметрам.

Во-первых, подходы варьируются от неколичественного нарратива, традиционного для историков (в первых главах), до квантитативных исследований с использованием статистического анализа, привычного для общественных наук за стенами исторических факультетов (в последующих главах).

Во-вторых, наши сравнения варьируются от простого бинарного анализа (Гаити и Доминиканская Республика, находящиеся бок о бок друг с другом на острове Гаити) до трехмерного (в двух главах), далее – к сравнительному анализу нескольких десятков германских территорий и, наконец, к сравнению 81 тихоокеанского острова и 233 регионов Индии.

В-третьих, общества, которые мы изучаем, включают в себя и современные общества, и письменные общества последних нескольких столетий, оставившие нам богатый архив свидетельств, и дописьменные цивилизации прошлого, по которым у нас есть только археологические источники.

Наконец, наш географический охват будет интересен историкам, изучающим самые разные уголки мира. Наши исследования охватывают Соединенные Штаты, Мексику и один из островов Карибского моря; Бразилию, Аргентину и Западную Европу; тропическую Африку, Индию и Сибирь; а также Австралию, Новую Зеландию и другие острова Тихого океана.

Таким образом, традиционным историкам покажется привычным подход первых четырех исследований в нашей книге, поскольку изложение в них нарративное, сравнивается небольшое число обществ (три, семь, три и два соответственно), а в тексте нет статистического анализа количественных данных. Подход остальных четырех исследований отличается от того, к чему привыкло большинство традиционных историков, но он все же будет знаком некоторым исследователям в этой и смежных общественных науках, поскольку эти авторы недвусмысленно опираются на статистическое сравнение количественных данных и сравнивают большое количество объектов (81, 52, 233 и 29 соответственно).

В первом эссе Патрик Керч пытается разобраться в том, почему на десятках островов Тихого океана, освоенных одним и тем же народом-прародителем – древними полинезийцами, – история пошла настолько разными путями. Керч сосредоточивает свое внимание на двух архипелагах и одном острове, иллюстрирующих весь диапазон сложностей политической и экономической жизни Полинезии: это небольшой остров Мангаиа, который развивался как мелкое вождество; среднего размера Маркизский архипелаг, на котором со временем утвердилось несколько независимых враждующих вождеств; и Гавайи – крупнейший полинезийский архипелаг, не считая Новой Зеландии, место жительства нескольких крупных конкурирующих социальных образований, которые можно охарактеризовать как зарождающиеся «архаические государства»; каждое из них занимает один или несколько островов. Поскольку все эти полинезийские сообщества не имели письменности, Керч в своей работе опирался на лингвистические, археологические и этнографические свидетельства, а не на письменные архивные

источники, которыми обычно пользуются историки. Поэтому его исследование часто относят к области археологии, а не истории, хотя занимающие его вопросы ближе как раз традиционным историкам. Керч отмечает, что сходство культурных черт у разных сообществ может быть результатом параллельного сохранения одного и того же унаследованного признака (так называемые общие гомологии), независимого развития (так называемые аналогии) или заимствования. В соответствии с этим он предлагает методологически строгий подход к сравнению, который называет филогенетической моделью, и использует для реконструкции особенностей обществ и культур прошлого сразу несколько цепочек доказательств («триангулярный» подход).

Работа Джеймса Белича (эссе 2) – это еще один вклад в и так уже обширную литературу о жителях различных фронтиров – таких, например, как американский Запад. Белич сравнивает семь подобных обществ XIX века: в Соединенных Штатах, на Британском Западе (Канада, Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка), в Аргентине и в Сибири. Эти общества различались по многим очевидным параметрам – например, по числу иммигрантов, впоследствии вернувшихся на родину; по десятилетию, на которое приходился максимальный экономический рост (и, следовательно, по тому, какой этап промышленной революции преобладал на данной территории); и особенно они различались тем, что пять обществ были англоязычными, одно (Аргентина) – испаноязычным (хотя и принимало итальянских иммигрантов даже больше, чем испанских), и еще одно (Сибирь) – русскоязычным. Несмотря на эту разницу «экспериментальных условий», Белич приходит к поразительному выводу о том, что все эти фронтиры неоднократно проходили через схожие циклы, состоящие из трех этапов: взрывной рост населения, сопровождающийся импортом товаров и капитала; затем драматический упадок, когда темпы роста сокращались в разы, а фермы и предприятия массово разорялись; и, наконец, «спасение экспортом» (*export rescue*), в результате которого возникала новая экономика, основанная на массовом экспорте основных местных сырьевых продуктов в далекую метрополию. В общей сложности Белич зафиксировал в семи сообществах 26 таких циклов. Их повторение свидетельствует о том, что глубинные общие черты популяционной и экономической динамики всех этих территорий перевешивают влияние различий (разная степень укорененности иммигрантов, разные периоды роста и степени индустриализированности, разные метрополии). В целом полученная Беличем картина показывает, что при сравнении необходимо обращать внимание не только на различия, но и на сходные результаты, на «конвергентную эволюцию», если заимствовать термин из эволюционной биологии.

Стивен Хейбер (глава 3) сравнивает Соединенные Штаты, Мексику и Бразилию XIX века, изучая истоки формирования их банковских систем; различия между ними имели огромные последствия для современной истории этих трех стран. Исследование Хейбера – это очередная попытка ответить на глобальный вопрос, над которым билось немало экономистов, политологов и историков: почему в некоторых странах банковские системы становятся очень мощными и широко выдают кредиты, тем самым стимулируя быстрый рост, а в других странах почти совсем нет банков, и это сдерживает рост и ограничивает социальную мобильность? Вот пример таких межгосударственных различий: по итогам 2005 года объем банковских кредитов, выданных частным лицам в Великобритании, равнялся 155 % ВВП, в Японии – 98 %, но при этом в Мексике – 15 %, а в Сьерра-Леоне – всего 4 %. Это неравенство банковских систем разных государств, вне всяких сомнений, связано с разной степенью демократии в политической системе той или иной страны, но тут уже встает вопрос о причинах и следствиях: демократические ли институты способствуют расширению и росту банковской системы? Или же, наоборот, крупные банковские структуры сами по себе стимулируют появление демократических институтов?

Чтобы уменьшить число погрешностей в этом естественном эксперименте, Хейбер выбирает три крупные страны Нового Света – все они получили независимость в течение несколь-

ких десятилетий до или после 1800 года, все начали существование как независимые государства, не имея ни единого чартерного банка (поскольку бывшие колониальные власти запрещали их создание). С помощью такого отбора Хейбер избавляется от усложнений, которые возникли бы, включи он в рассмотрение европейские страны, к 1800 году уже имевшие чартерные банки (а также значительные различия в своих банковских системах). История каждой из выбранных для естественного эксперимента стран Нового Света содержит в себе более мелкие внутренние эксперименты: эти страны не только различались политическим устройством, но и сами политические институты в них менялись с течением времени в рамках рассмотренного периода (от получения независимости примерно до 1914 года).

В последнем и наименее масштабном из четырех наших нарративных нестатистических исследований Джаред Даймонд (эссе 4) сравнивает два общества – Гаити и Доминиканскую Республику на карибском острове Гаити (старое название – Эспаньола), – которые разделяет одна из самых впечатляющих политических границ в мире. Если посмотреть на остров с самолета, вы увидите, что он разделен пополам четкой прямой линией: на западе простираются голые коричневые земли Гаити, сильно разрушенные эрозией и лишившиеся более 99 % лесного покрова; на востоке раскинулась цветущая Доминиканская Республика, все еще почти на треть покрытая лесами. Политические и экономические различия между этими двумя странами столь же разительны: густонаселенная Гаити – самая бедная страна Нового Света. Ее неустойчивое правительство не в состоянии удовлетворить базовые нужды большинства граждан. А вот Доминиканская Республика, хоть и входит пока в число развивающихся стран, может похвастаться средним доходом на душу населения, в шесть раз превышающим аналогичный показатель Гаити. Здесь имеется множество экспортных отраслей и за последние десятилетия мирно сменили друг друга несколько демократически избранных правительств.

Отчасти эти различия между современными Гаити и Доминиканой обусловлены разницей в изначальных природных условиях: климат на гаитянской стороне острова несколько более засушливый, рельеф более сложный, а слой почвы более тонкий и она менее плодородна, чем в Доминиканской Республике. Однако по большей части объяснение заключается в истории их колонизации: западная Эспаньола стала колонией Франции, восточная – Испании. Разная политика колониальных властей с самого начала породила коренные различия в устройстве плантаций, на которых трудились рабы, в языке, плотности населения, социальном неравенстве, колониальном благосостоянии, а затем и в степени обезлесения. Это привело сначала к различиям в методах борьбы за независимость, потом к различному восприятию иностранных инвестиций и иммиграции (а также к различному отношению к стране со стороны Европы и США); позднее – к резкому расхождению политических курсов их долгосрочных диктатур; и, наконец, к различному настоящему этих двух стран.

Вторая часть четвертого эссе представляет собой противоположную крайность: после камерного нарративного сравнения двух половинок одного острова мы беремся за крупномасштабное статистическое сравнение 69 тихоокеанских островов, а также сравнение влажных и засушливых областей на двенадцати из этих островов. Отправной точкой данного исследования служит романтическая тайна острова Пасхи, прославившегося сотнями опрокинутых гигантских каменных статуй. Почему на острове Пасхи в конце концов осталось меньше лесов, чем на любом другом острове Тихого океана? Почему практически все местные виды деревьев исчезли, а жителям, зависящим от древесины, пришлось терпеть тяжелые последствия этого? Но остров Пасхи – это лишь один объект в масштабном естественном эксперименте, поскольку степень обезлесения на сотнях тихоокеанских островов колебалась от крайней (как на острове Пасхи) до незначительной. База данных Даймонда включает в себя острова, рассмотренные Керчем в главе первой и населенные полинезийцами, а также острова, по которым расселились две родственные группы тихоокеанских народов (меланезийцы и микронезийцы). Поскольку рост деревьев и обезлесение зависят от множества факторов, было бы невозможно объяснить

весь спектр результатов с помощью нарративного исследования одного или двух островов. Но поскольку для анализа было доступно большое количество объектов, это позволило обнаружить, что влияние на степень обезлесения оказывали девять различных независимых факторов. Некоторым из них Даймонд и его коллега Барри Ролетт вовсе не предполагали придавать какого-либо значения, пока не провели статистический анализ.

Более общий интерес для историков представляет возможность получить подобные выводы даже без точного измерения уровня обезлесения: Ролетт и Даймонд лишь приблизительно обозначили его по пятибалльной шкале от «серьезного» до «слабого». Историки часто стремятся понять события, которые трудно измерить, но которые можно хотя бы классифицировать по какой-нибудь шкале («большое», «среднее», «мелкое»). К услугам этих ученых – целая отрасль статистики, посвященная анализу таких вот оценочных нечисловых результатов.

Авторы остальных трех исследований – Нейтан Нанн (глава 5), Абхиджит Банерджи и Лакшми Айер (глава 6), а также Дарон Аджемоглу, Давиде Кантони, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон (глава 7) – описывают естественные эксперименты, в которых исторические последствия некоего масштабного возмущающего фактора (африканской работорговли, британского колониального господства в Индии и институциональных реформ, сопровождавших революционные завоевания французов, соответственно) поддаются сравнению, поскольку в каждом случае возмущение происходило в географически разрозненных регионах какой-то одной обширной территории. Поэтому, сравнивая области, затронутые возмущением, с остальными регионами этой территории, можно выдвинуть правдоподобную и поддающуюся проверке гипотезу о том, что общие социальные различия, наблюдаемые между этими двумя типами регионов, возникли на основе активности или неактивности возмущающего фактора, а не неких иных различий между ними. Если, однако, те и другие регионы «возмущались» каким-либо географически обоснованным способом (например, все регионы, затронутые возмущением, находились на юге или в горах на большой высоте), то столь же правдоподобной была бы гипотеза о том, что наблюдаемые социальные различия вызваны именно географическими причинами, а не наличием или отсутствием определенного возмущающего фактора. Конечно, все три исследования должны также обосновать направление причинно-следственной связи: в самом ли деле причиной наблюдаемых различий стали возмущающие факторы, или, быть может, инициаторы возмущения (соответственно, работорговцы, британские колонизаторы и французские завоеватели) выбрали конкретные регионы географически неоднородной территории из-за уже существовавших особенностей, которые и следует считать реальной причиной сегодняшних различий?

В одной из этих трех работ, принадлежащей перу Нейтана Нанна, рассматривается уже не раз обсуждавшийся вопрос последствий работорговли для современной Африки. Нанн сравнивает современные африканские государства, чьи территории в прошлом в различной степени испытали на себе последствия вывоза рабов через Атлантический или Индийский океаны, через Сахару и Красное море. Из одних регионов Африки вывезли огромное количество невольников, в то время как из других – практически никого. Оказывается, сегодня первые регионы, как правило, более бедны, чем вторые, и Нанн утверждает, что именно работорговля послужила причиной этих экономических различий, а не наоборот.

В том же ключе Абхиджит Банерджи и Лакшми Айер обращаются к нерешенному вопросу о влиянии британского колониального правления на Индию. По их мнению, в областях Индии, которые ранее находились под непосредственным контролем британского правительства, сегодня, как правило, меньше школ и дорог с твердым покрытием, ниже уровень грамотности и объемы бытового потребления электроэнергии, чем в областях, в прошлом не испытывавших столь сильного колониального влияния.

Дарон Аджемоглу, Давиде Кантони, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон углубляются в изучение спорного вопроса о последствиях масштабных институциональных реформ, про-

веденных Наполеоном в завоеванных им областях Европы. Авторы сравнивают германские территории, претерпевшие подобные коренные институциональные изменения, с остальными германскими землями, и описывают исторические стечения обстоятельств, которые стали катализатором изменений в географически разрозненных регионах по всей Германии. Эти институциональные изменения привели к повышению уровня урбанизации, но лишь после паузы, продлившейся несколько десятилетий, – из-за более позднего начала промышленной революции. В то время как области, которые пережили институциональные изменения, приняли промышленную революцию, области, которые цеплялись за свое старое устройство, сопротивлялись ей.

В завершающем книгу эпилоге изложены размышления о методологических трудностях, встающих перед авторами этих и иных естественных экспериментов, в ходе которых история человечества изучается с помощью сравнительных методов. Среди этих трудностей – эксперименты, в которых фигурируют либо различные возмущающие факторы, либо различные начальные условия; «выбор» регионов, подвергшихся возмущению; отложенное во времени проявление последствий возмущения; проблемы в установлении причинно-следственной связи по наблюдаемым статистическим корреляциям – например, обратная каузальность, искажение опущенной переменной и лежащие в их основе механизмы; попытки избежать чрезмерного упрощения и, наоборот, чрезмерного усложнения объяснений; «операционализация» неясных феноменов (например измерение и другие исследования счастья); роль квантификации и статистики; а также напряжение между узкими тематическими исследованиями и широкими обобщениями.

Что касается стиля и формата нашей книги, мы признаем, что сборникам работ разных ученых часто присущи определенные минусы: избыток глав и авторов, избыток страниц, но при этом недостаток единства и недостаточная цельность редактуры. Каждый из нас в прошлом составил по крайней мере два сборника статей, и нам болезненно ясна мысль о том, какие усилия необходимы для достижения гармоничного результата. Своим прошлым соавторам мы так надоедали, что, по некоторым подсчетам, создание каждой книги стоило нам, в среднем, двух дружеских связей на всю жизнь и еще нескольких – по крайней мере, лет на десять. К счастью, все авторы в этой книге читали работы друг друга на стадии черновики и в течение двух лет, что мы трудились над этим проектом, реагировали на наши бесконечные просьбы о пере- и доработке с неизменной любезной отзывчивостью. Каждую главу также прочло полдюжины «традиционных» историков, чьи предложения мы включили в текст или иным образом учли⁷.

Джаред Даймонд и Джеймс А. Робинсон

Мы с радостью признаем, что находимся в неоплатном долгу перед Робертом Шнайдером и его коллегами, а также перед множеством наших собственных коллег и иных рецензентов, анонимных и нет, за их щедрое внимание и советы, которые помогли создать эту книгу и сделали ее лучше.

⁷ Часть идей взята из главы авторства Джареда Даймонда (*Jared Diamond. Die Naturwissenschaft, die Geschichte und Rotbrustige Saft säuger // Die Ursprünge der Modernen Welt* / eds. James Robinson, Klaus Wiegandt. Frankfurt am Main, 2008. P. 45–70).

1. Контролируемое сравнение и полинезийская культурная эволюция

В начале января 1778 года корабли Ее Величества «Резолюшн» и «Дискавери» под командованием капитана Джеймса Кука плыли по неизведанным водам северной части Тихого океана, следуя к побережью Нового Альбиона, как тогда называли тихоокеанский северо-запад США. По приказу Адмиралтейства Кук должен был пополнить запасы на острове Таити, уже хорошо знакомом ему по двум предыдущим плаваниям, а потом двинуться на север в поисках легендарного Северо-западного прохода. Восемнадцатого января впереди корабля «Резолюшн» заметил на северо-востоке остров, высоко вздымающийся над уровнем моря; вскоре к северу от него проступил второй вулканический пик. На следующий день Кук и его команда установили первый контакт с одним из самых изолированных сообществ в мире – полинезийцами гавайского острова Кауаи.

Кук уже бывал в Полинезии. Впервые он посетил Таити десятью годами ранее по поручению Лондонского королевского общества, чтобы наблюдать проход Венеры по диску Солнца 3 июня 1769 года. Выполнив эту миссию, Кук занялся исследованием других островов архипелага, который он назвал островами Общества, а затем пустился в беспрецедентное путешествие вокруг Новой Зеландии. В 1772 году Адмиралтейство снова отправило его в Тихий океан, чтобы Кук нашел Южную землю (*Terra Australis*) – материк, существование которого давно уже предполагалось, но только гипотетически. Корабли Кука спустились на юг дальше, чем кто-либо из европейских мореплавателей до него; кроме того, капитан исследовал и нанес на карту очередную часть Полинезии, в том числе острова Туамоту, Тонга, южные острова Кука, остров Пасхи и Маркизские острова.

За десять лет плаваний по центральной части Тихого океана, картографирования островов и знакомства с их жителями капитан Кук накопил обширные познания и научился глубоко понимать народы, которые мы сегодня объединяем под именем полинезийцев⁸. Первым, что привлекло его внимание, когда каноэ жителей Кауаи подошло к кораблю «Резолюшн», оказался язык островитян – это определенно был какой-то вариант языка, на котором разговаривали жители острова Таити, лежащего более чем на 2700 миль к югу. Накануне отплытия из Кауаи, собираясь продолжить путешествие к Новому Альбиону, Кук записал в судовом журнале:

Как же нам объяснить то, что эта Нация сумела распространиться столь далеко по этому огромному Океану?⁹

Его поразило, что люди, явно говорящие на родственных языках, то есть, если рассуждать логически, в не слишком отдаленном прошлом представлявшие собой единый народ, расселились от Новой Зеландии до самого острова Пасхи, а теперь, как оказалось, и до только что обнаруженного архипелага в северной части Тихого океана. По расчетам Кука, географически эта «Нация» распространилась «по территории в 60° широты, или двенадцать сотен лиг на север и юг, и 83° долготы, или тысячу шестьсот шестьдесят лиг на восток и запад». Кук, один из величайших исследователей эпохи Просвещения, столкнулся с великой загадкой человеческой истории. Вопрос происхождения полинезийцев и история их последующего расселения и

⁸ Сам Кук не использовал этот термин, хотя тот, очевидно, был введен еще в 1756 году Ш. Де Броссом: *C. De Brosses. Histoire des Navigations aux Terres Australes*. Paris, 1756.

⁹ *James Cook. Journal // The Journals of Captain James Cook, The Voyage of the Resolution and Discovery, 1776–1780* / ed. J. C. Beaglehole. Cambridge, 1967. P. 279.

культурной дифференциации – это тайны, которые в конце концов удалось разгадать с помощью метода контролируемого сравнения.

В этой книге мне хотелось бы продемонстрировать, как смотрит на использование сравнений в исторических исследованиях антрополог, вот уже несколько десятилетий изучающий древние общества и культуры Полинезии – бесчисленных островов и архипелагов, расположенных в гигантском треугольнике, в вершинах которого находятся Новая Зеландия, Гавайи и Рапануи (остров Пасхи). Как обнаружил Кук, их все объединяет общее языковое наследие. Археология впоследствии доказала, что Полинезия представляет собой исторически единую культурную область, поскольку все ее разнообразные культуры имеют множество общих черт, берущих начало в первом тысячелетии до нашей эры. По этой причине Полинезию не раз рассматривали как идеальное место для проведения сравнительного анализа. В ряде классических работ антропологов такой сравнительный подход в самом деле применяется – в частности, Маршалл Салинс исследовал дифференциацию полинезийских общественных формаций в связи с природными особенностями разных островов, а Ирвинг Голдман изучал «статусное соперничество» как ключ к пониманию различий в полинезийских культурах¹⁰. Что касается материальной культуры, то различия в конструкции полинезийских парусных каноэ, технологиях изготовления тапы (ткани из обработанной древесной коры) и тесания камня также стали предметом сравнительного исследования¹¹. Дуглас Оливер вышел далеко за пределы Полинезии, включив в свой всеобъемлющий труд об Океании меланезийцев, микронезийцев, а также австралийские культуры¹². Исторические лингвисты, со своей стороны, используя свои собственные специализированные методы фонологического и лексического сравнения, реконструировали большую часть протополинезийского словаря¹³.

Мой собственный интерес к Полинезии проистекает из моей основной научной специализации – доисторической археологии (или «антропологической археологии», как многие называют эту дисциплину – отчасти для того, чтобы отличать ее от «классической» археологии, которая фокусируется на греко-римском мире). Но хотя я вложил много сил в поиски конкретных вещественных доказательств, с помощью которых можно датировать и определить рамки истории Полинезии до прибытия европейцев и появления исторических документов, я считаю такие полевые изыскания лишь частью более глобального процесса исторических исследований. Причина этому – моя твердая вера в то, что сравнительный анализ праистории множества народов может поведать нам нечто более глубокое о человеческих культурах и их долгосрочном развитии. Поэтому с течением времени я стал считать себя «историческим антропологом» и начал все чаще обращаться ко все более широкому спектру междисциплинарных свидетельств, которые включают в себя не только археологические находки, но и информацию исторической лингвистики, результаты компаративных этнографических исследований, а также данные палеоэкологии.

Я должен уточнить еще одну особенность своего эпистемологического подхода, а именно: я считаю историческую антропологию «исторической наукой» – в том смысле, в котором Стивен Джей Гулд и Эрнст Майр противопоставляли «исторические» и «экспериментальные»

¹⁰ *Marshall Sahlins. Social Stratification in Polynesia. Seattle, 1958; Irving Goldman. Ancient Polynesian Society. Chicago, 1970.* Более ранние сравнительные работы на материале Полинезии включают масштабное трехтомное исследование Р. В. Уильямсона: *R. W. Williamson. The Social and Political Systems of Central Polynesia. Cambridge, 1924.* Значение сравнительного подхода в изучении истории человека в Океании также подчеркивал Уорд Г. Гудинаф: *Ward H. Goodenough. Oceania and the Problem of Controls in the Study of Cultural and Human Evolution // Journal of the Polynesian Society. 1957. № 66. P. 146–155.*

¹¹ Сравнительный анализ полинезийских каноэ см.: *Ben Finney. Ocean Sailing Canoes // Vaka Moana: Voyages of the Ancestors / ed. K. R. Howe. Auckland, New Zealand, 2006. P. 100–153.*

¹² *Douglas Oliver. Oceania: The Native Cultures of Australia and the Pacific Islands. 2 vols. Honolulu, 1989.*

¹³ Пространная история полинезийской исторической лингвистики хорошо резюмирована у Джеффа Марка: *Jeff Marck. Topics in Polynesian Language and Culture History // Pacific Linguistics. Canberra, 2000. № 504.*

науки¹⁴ (поэтому мне не близка точка зрения постмодерна, согласно которой все сконструированные «тексты» прошлого одинаково ценны). На самом деле роль археологии в исторической науке (или науке о «культурной эволюции») кажется мне аналогичной роли, которую палеонтология играет в науке о биологической эволюции. Обе дисциплины обнаруживают вещественные свидетельства долгосрочных изменений, культурных в одном случае (артефакты и следы человеческой деятельности) и биологических – в другом (кости, экзоскелеты и другие ископаемые остатки). Но мы можем понять смысл этих доказательств, лишь включив их в более широкую парадигму. В настоящее время ведется большая работа по созданию такой парадигмы для культурной эволюции, однако обзор этой работы получился бы куда более масштабным, чем позволяют рамки настоящего эссе¹⁵.

Возвращаясь к концепции *сравнения*, следует отметить, что эта идея имеет критически важное значение для любой исторической дисциплины, в том числе и исторической антропологии, потому что мы не можем провести «эксперимент» с культурной эволюцией или подвергнуть такому эксперименту долгосрочные изменения в человеческих культурах и обществах. Однако, согласно мудрому замечанию Майра, исторические (или «наблюдательные») науки обнаружили альтернативу лабораторному опыту, обратившись к поиску «естественных экспериментов». Нет естественного эксперимента более знаменитого, чем дарвиновские выюрки с Галапагосских островов, предоставившие ученому важные доказательства теории эволюции. Как писал Майр,

прогресс наблюдательных наук в значительной степени опирается на гений тех, кто обнаруживает, критически оценивает и сравнивает подобные естественные эксперименты в тех областях, где проведение лабораторного эксперимента либо крайне непрактично, либо вообще невозможно¹⁶.

Пожалуй, неудивительно, что во многих самых известных естественных экспериментах фигурируют острова и архипелаги. Полинезия предлагает именно такой ряд естественных – в данном случае культурных – экспериментов, помогающих понять фундаментальные процессы исторических изменений в масштабе одного-трех тысячелетий. Острова Полинезии и их общества представляют собой почти идеальный регион для сравнительного исторического анализа по нескольким причинам. Во-первых, различия самих островов между собой поставили перед первопоселенцами трудные задачи по адаптации. Острова варьируют по размерам – от крошечных, в несколько квадратных километров, до едва ли не континентальных масштабов (Новая Зеландия); по форме – от коралловых атоллов до вулканических островов, относящихся к различным геологическим эпохам; также они различаются с точки зрения климата, морских и наземных ресурсов.

Во-вторых, все эти острова были открыты и заселены людьми, чье происхождение можно проследить до одной и той же группы прародителей – мигрантов из восточной ветви культуры лапита, которые появились в регионе Тонга-Самоа приблизительно в 900 году до нашей эры¹⁷. Таким образом, более поздние общества их потомков можно сравнивать между собой, взяв те аспекты их культур, которые явно унаследованы от группы прародителей, и противопоставив их новым, самостоятельно возникшим чертам.

¹⁴ *Stephen J. Gould. Evolution and the Triumph of Homology // American Scientist. 1986. № 74. P. 60–69; Ernst Mayr. The Growth of Biological Thought. Cambridge, MA, 1982.*

¹⁵ Вот две важные книги, в которых обсуждается теория дуальной модели биологического и культурного развития: *Peter J. Richerson and Robert Boyd. Not by Genes Alone: How Culture Transformed Human Evolution. Chicago, 2005; Stephen Shennan. Genes, Memes and Human History. London, 2002.* В частности, Шеннан интегрирует теорию культурной эволюции с использованием археологических данных для отслеживания такой эволюции во времени.

¹⁶ *Ernst Mayr. This Is Biology: The Science of the Living World. Cambridge, MA, 1997. P. 29.*

¹⁷ Обзор современного состояния полинезийской археологии и праистории: *Patrick V. Kirch. On the Road of the Winds: An Archaeological History of the Pacific Islands before European Contact. Berkeley, CA, 2000.*

Наконец, в-третьих, полинезийские общества, какими их увидели Кук и другие исследователи эпохи Просвещения в конце XVIII века, демонстрировали поразительный диапазон вариаций социополитического и экономического устройства: от простых вождеств, в которых почти не существовало общественного неравенства, до крупных образований с десятками тысяч жителей, со сложными структурами и иерархическими социальными формациями. Таким образом, Полинезия предоставляет нам замечательную возможность для проведения сравнительного анализа социальных и культурных изменений в группе исторически родственных народов.

Но заметить, что Полинезия представляет собой идеальный полигон для сравнительного анализа, – это одно, а разработать строгую методологию этого анализа – совсем другое. Для начала в рамках этого подхода нужно научиться отличать культурные черты, общие для всех рассматриваемых народов (*гомологии*), от уникальных для каждого народа новаций (*аналогий*), а те и другие – от заимствованных особенностей (*синологий*)¹⁸. Вместе с моим коллегой Роджером Грином мы разработали именно такой тщательно структурированный метод сравнительно-исторического анализа, который, следуя предложению антрополога Эвона Фогта, назвали «филогенетической моделью». Полное описание филогенетической модели и другого непосредственно связанного с ней понятия – «триангуляционного подхода» – содержится в нашей общей работе¹⁹. Здесь я лишь коротко обобщаю ключевые элементы подхода, без которого был бы невозможен сравнительный анализ, представленный во второй части этой главы.

Филогенетическая модель основана на представлении, которое впервые сформулировал Ким Ромни применительно к юто-ацтекским культурам Нового Света. Согласно этому представлению, во многих частях мира группы родственных культур (и часто об этом родстве наиболее четко говорит тот факт, что все они принадлежат к одному языковому семейству) имеют общую историю – «филогению». Иными словами, общие черты таких культур представляют собой гомологии. Питер Беллвуд недавно высказал предположение о том, что резкий рост аграрных популяций в середине-конце голоцена и их стремительная территориальная экспансия в различных регионах и привели к возникновению паттерна исторически родственных культурно-языковых групп, населяющих ныне значительные части земной суши²⁰. Среди примеров – бантуговорящие народы Африки к югу от Сахары, юто-ацтекские народы Мезоамерики и западной части Северной Америки и представители обширных китайско-тибетской, австроазиатской и австронезийской языковых семей Восточной и Юго-Восточной Азии. Поэтому Полинезия – одно из направлений масштабной австронезийской экспансии – представляет собой лишь один из множества случаев, когда филогенетическую модель можно плодотворно применить для сравнительно-исторического анализа. Однако из-за своей дискретной островной географии, предполагающей ограниченное число контактов и относительную изоляцию после периода первоначальной экспансии и расселения, именно полинезийский пример идеально подходит для выработки методологии филогенетического подхода к истории культуры.

¹⁸ Гомологичные черты являются ретенцией от общих предков, в то время как аналогичные черты возникают после распада предковой культуры на родовые группы, как правило, при наличии аналогичных условий или проблем. Синологичными являются черты, позаимствованные из-за культурных границ. Для более глубокого понимания этих важных различий, а также природы «культурных филогений» см.: R. Boyd, M. B. Mulder, W. H. Durham, and P. J. Richerson. Are Cultural Phylogenies Possible? // *Human by Nature: Between Biology and the Social Sciences* / eds. P. Weingart, S. D. Mitchell, P. J. Richerson, and S. Maasen. Mahwah, NJ, 1997. P. 355–386.

¹⁹ Patrick V. Kirch and Roger C. Green. *Hawaiki, Ancestral Polynesia: An Essay in Historical Anthropology*. New York, 2001. Оригинальная формулировка филогенетической модели см.: A. K. Romney. The Genetic Model and Uto-Aztecan Time Perspective // *Davidson Journal of Anthropology*. 1957. № 3. P. 35–41. Методологические детали идей Ромни были в дальнейшем разработаны в статье: E. Z. Vogt. The Genetic Model and Maya Cultural Development // *Desarrollo Cultural de los Mayas* / eds. E. Z. Vogt, L. A. Ruz. Mexico, D. F., 1964. P. 9–48.

²⁰ Peter Bellwood. *First Farmers: The Origins of Agricultural Societies*. Malden, MA, 2005.

Филогенетическая модель с помощью ряда методологических шагов определяет особенности истории культурной эволюции и дифференциации в группе родственных культур (Ромни назвал это «сегментом культурной истории»). После изучения географии расселения интересующей исследователя группы – для которой выдвинута гипотеза такой гомологичной истории – важнейший первый шаг состоит в том, чтобы приложить методы историко-лингвистического анализа к набору языков, на которых говорят представители этих культур. Это даст возможность вывести «генеалогическое древо» (или «филогению») исторических отношений. Фогт изначально предлагал использовать лексикостатистику и глоттохронологию²¹, однако подобные «фонетические» методы не всегда способны выявить истинные филогенетические отношения между рассматриваемыми языками; поэтому в рамках исторической лингвистики предпочтительнее пользоваться традиционным «сравнительно-генетическим» подходом. В результате применения этого классического сравнительного метода должно появиться «генеалогическое древо» – схема языковых различий²². Такое древо или филогения представляет собой модель исторических отношений и постепенного процесса языкового (и связанного с ним культурного) разветвления или разделения. После разработки филогении можно также использовать методы лексической и семантической реконструкции, что позволяет до определенной степени воссоздать праязык и пракультуру группы прародителей (в данном случае протополинезийский язык и предковую полинезийскую культуру), то есть основу, которая позже подвергалась преобразованиям и дивергенции.

Конечно, филогенетическое древо, созданное в результате такого историко-лингвистического анализа, должно считаться лишь *моделью* (сложной совокупностью взаимосвязанных гипотез), которую необходимо подвергнуть перекрестной проверке с помощью независимых свидетельств. Подобную проверку можно провести, обратившись к данным археологии. Подтверждают ли археологические, материальные источники тот паттерн разветвления, который мы построили на основании лингвистических свидетельств? Например, соответствуют ли происходившая во времени эволюция полинезийской керамики, развитие технологий тесания камня, стили рыболовных крючков той модели культурной дифференциации, которую демонстрирует генеалогическое древо полинезийских языков? В случае полинезийской культуры соответствие очень точное, что укрепляет нашу уверенность в правильности предложенной теории филогенеза. Кроме того, археология имеет возможность непосредственно датировать (с помощью радиоуглеродного и других методов) наборы накопленных памятников, которые можно сопоставить с конкретными ветвями и этапами развития праязыка на языковой модели. Таким образом, археология позволяет нам не только провести независимую проверку лингвистической модели культурной дифференциации внутри крупной культурной группы, но и определить для этой модели четкие хронологические рамки.

Проведенные за последние пятьдесят лет археологические исследования показали, что исконная территория проживания полинезийцев располагалась в регионе Тонга-Самоа (известном как Западная Полинезия), и первыми поселенцами на ней стали носители культуры лапита приблизительно в 900 году до нашей эры²³. Именно в архипелагах Тонга и Самоа в

²¹ Лексикостатистика предполагает сравнение языков с учетом статистической частоты выявления предполагаемых «родственников». Ее преимущество состоит в том, что она позволяет быстро сравнивать множество языков, однако не способна отличать родственные по происхождению слова от заимствований. Глоттохронология накладывала на данные лексикостатистики предполагаемую стандартную скорость языковых изменений и таким образом выводила хронологию языка; сегодня этот подход уже не является популярным.

²² Такую модель древа полинезийских языков предлагают Керч и Грин: *Kirch and Green. Hawaiki, Ancestral Polynesia*. Рис. 3.5.

²³ В область полинезийской родины иногда включают архипелаг Фиджи, но это неверно. Фиджи, Тонга и Самоа около 900 г. до н. э. были заселены представителями культурного комплекса восточных народов Лапита. Именно из одной из общин-потомков культуры Лапита в архипелагах Тонга и Самоа (в том числе и небольших островов Футуна и Увеа) появилась в

течение как минимум тысячелетия развивались протополинезийский язык и предковая полинезийская культура. Позднейшая дифференциация произошла отчасти в результате миграции полинезийскоязычных народов в середине-конце I тысячелетия н. э. из исконной западно-полинезийской области на восток в центральную Полинезию: на острова Общества, острова Кука, Маркизские острова, Тубуаи и Туамоту, а в конечном итоге – на самые отдаленные границы полинезийского мира: на Гавайи, Рапануи (остров Пасхи) и Аотеароа (Новая Зеландия)²⁴.

Еще одной ключевой составляющей нашего подхода к исторической антропологии является использование «триангуляции» – реконструкции особенностей обществ и культур прошлого с привлечением сразу нескольких (или многих) линий свидетельств²⁵. Выбранный термин отсылает к геодезии, где местоположение точки на ландшафте можно с точностью определить, проведя линии визирования по крайней мере от трех (но предпочтительнее даже от большего количества) точек, координаты которых уже известны. Данный метод можно проиллюстрировать очень простым примером: триангуляция с использованием лексической реконструкции, семантической реконструкции и археологических данных позволяет реконструировать важный материальный объект древнего полинезийского кухонного обихода: терку для кокосовых орехов²⁶. Сначала методами исторической лингвистики делается реконструкция протополинезийского слова **tuahi*, обозначавшего такую терку (астериск в начале слова указывает на то, что это именно реконструкция, а не слово современного языка). Изучив данные сравнительной этнографии, мы обнаруживаем, что кокосовые терки в любой части Полинезии, как правило, состоят из деревянного табурета или основания-треножника, увенчанного собственно теркой, сделанной из раковины или камня (или, в наши дни, из железа). Столь широкое распространение данной этнографической формы подсказывает, что она представляет собой ретенцию (наследие) исходной предковой конструкции. Наконец, найденные в ходе раскопок в Западной Полинезии базальтовые терки показывают, что изначально использовался именно этот материал, а зубчатые раковины появились как позднейшее нововведение, уже в Восточной Полинезии. Таким образом, воспользовавшись свидетельствами лингвистической реконструкции, сравнительной этнографии и археологии, можно довольно точно реконструировать кокосовую терку древних полинезийцев. Этот пример может показаться тривиальным, но тот же метод можно применить в буквальном смысле к тысячам индивидуальных элементов, которые в совокупности составят надежную реконструкцию многих аспектов предковой полинезийской культуры.

Что может сравнительный анализ культурной эволюции, происходившей в полинезийских культурах и обществах примерно от 900 года до н. э. вплоть до контакта с европейцами в конце XVIII века, рассказать нам о глобальных проблемах всеобщей истории? Во-первых, этот анализ может углубить наше понимание эволюции и трансформаций социально-политической структуры сложных земледельческих сообществ. Филогенетическая модель представляет твердые доказательства того, что все тридцать с лишним полинезийских обществ, описанных капитаном Джеймсом Куком и другими европейскими исследователями в конце XVIII века, произошли от общих прародителей, чья культура расцвела на архипелагах Тонга и Самоа в середине I тысячелетия до н. э. Однако в XVIII столетии нашей эры эти общества

первом тысячелетии до нашей эры предковая полинезийская культура. Таким образом, хотя полинезийские культуры имеют непосредственную связь с Фиджи, полинезийская родина, строго говоря, не включает в себя острова Фиджи.

²⁴ С точки зрения языка это было отмечено сначала распадом оригинального протополинезийского речевого сообщества на прототонганскую и протоядерно-полинезийскую группы, а затем – дальнейшим распадом протоядерно-полинезийской на протоеллисскую и протовосточно-полинезийские. Дифференциация полинезийских языков весьма подробно описана Марком: *Marck. Topics in Polynesian Language and Culture History.*

²⁵ См.: *Kirch and Green. Hawaiki, Ancestral Polynesia.* P. 42–44.

²⁶ Подробности см.: *Kirch and Green. Hawaiki, Ancestral Polynesia.* P. 149–153. Табл. 6.2. Рис. 6.2.

отличались удивительным богатством и разнообразием социальных и политических структур, которые явно возникли в ходе последующего расселения полинезийских мореплавателей на отдаленные острова и архипелаги восточной части Тихого океана, каждый из которых имеет свой уникальный комплекс экологических, демографических, экономических и социальных особенностей и ограничений.

В одном коротком эссе невозможно рассмотреть весь спектр вариаций общественно-политической организации полинезийцев, поэтому я остановлюсь на трех конкретных случаях, в какой-то степени иллюстрирующих это разнообразие, и попытаюсь показать, как метод контролируемого сравнения помогает нам понять, каким образом в ходе истории эти три общества эволюционировали от общих прародителей. Для этого сравнения я выбрал следующие примеры: Гавайи, крупнейший полинезийский архипелаг, не считая Новой Зеландии²⁷, Маркизские острова (среднего размера архипелаг в центральной части Восточной Полинезии) и Мангаиа – самый южный из островов Кука. Все эти общества являются частью Восточной Полинезии; следовательно, все они были освоены полинезийцами при миграции с исходной территории Западной Полинезии, вероятно, в конце I тысячелетия н. э.²⁸ Первые поселенцы, прибывшие на Мангаиа, Маркизы и Гавайи, имели общий набор культурных представлений о социальных и политических структурах, поскольку происходили из единого предкового полинезийского общества. Развивались эти сообщества тоже примерно в одинаковые сроки – от первоначального прибытия и расселения полинезийцев в в конце I тысячелетия н. э. до первого контакта с европейцами в конце XVIII века²⁹. И все же сообщества, которые увидел на этих островах капитан Кук во время своих знаменитых плаваний, оказались на удивление разными.

Политическая организация острова Мангаиа представляла собой относительно небольшое вождество, в котором система власти имела открыто военизированный характер. Маркизские острова были разделены между несколькими независимыми племенами; там часто происходили набеги и стычки, но о достижении какой-то политической гегемонии в масштабах архипелага речи не шло. На Гавайях утвердились несколько крупных соперничающих социальных образований, каждое из которых занимало один или несколько островов, и их политическую организацию можно было охарактеризовать как зарождающееся «архаическое государство». Таким образом, менее чем за тысячу лет на этих трех островных территориях из одного и того же исходного сообщества развились заметно различающиеся между собой социополитические структуры.

Прежде чем перейти к более детальному сравнению Мангаиа, Маркизских и Гавайских островов, важно упомянуть, что именно филогенетическая модель и использование метода триангуляции позволяют нам реконструировать предковое полинезийское общество и его политическую организацию примерно с 500 года до н. э. до 500 года н. э. – то есть в период, предшествующий расселению полинезийцев с исходной западной территории по Восточной Полинезии³⁰. Предковые полинезийские общества³¹ (далее ППО) принципиально основыва-

²⁷ Новая Зеландия представляет собой нечто вроде аномалии по нескольким параметрам: она является «субконтинентальной» по размеру (а в геологическом плане – остатком древнего континента Гондваны) и имеет умеренный климат (в то время как в остальной Полинезии климат тропический или субтропический). Полинезийским поселенцам, прибывшим в Новую Зеландию приблизительно в 1200 году нашей эры, пришлось адаптироваться к весьма непривычным условиям среды, и это привело к тому, что культура маори во многих отношениях выделяется среди иных родственных полинезийских культур.

²⁸ Дата начала полинезийского заселения как Мангаиа, так и Гавайев давно является предметом серьезных споров. Однако недавние радиоуглеродные анализы, проведенные по всей Восточной Полинезии, позволяют с уверенностью заявить, что появление полинезийцев в этом регионе датируется примерно 900–1100 годами нашей эры.

²⁹ Капитан Джеймс Кук посетил и Гавайи, и Мангаиа в ходе своих знаменитых плаваний по Тихому океану – если точнее, во время рокового третьего путешествия 1777–1779 годов.

³⁰ Полная реконструкция социальной, политической и ритуальной организации предкового полинезийского общества представлена в: *Kirch and Green. Hawaiki, Ancestral Polynesia*. P. 201–276.

³¹ Здесь важно подчеркнуть множественное число «обществ», так как на островах, растянувшихся на географическом пространстве между югом Тонга и Самоа, проживали многочисленные социальные общности.

лись на идее «домоцентричных» социальных групп, которые антрополог Клод Леви-Стросс называл «домашними обществами» (*sociétés à maison*)³². Вместо опоры на абстрактное понятие «рода» (как, например, во многих африканских странах) смена поколений в таких обществах организована вокруг одного или нескольких групповых жилищ и земельных участков, привязанных к этим жилищам. Остальное имущество, как материальное (каное, деревья и т. д.), так и нематериальное (имена, истории, знаки отличия, привилегии), также закреплено за тем или иным домом. Люди относят себя к тому или иному «дому» (в протополинезийском языке такие дома назывались **kaainga*) по праву рождения, но могут и выбрать место жительства. Домоцентричная система общественной организации допускает и другие способы породниться, например усыновление (обычная практика в Океании), и таким образом позволяет крайне легко регулировать размер групп в соответствии с доступной территорией и ресурсами. Глава дома **kaainga* назывался **fatu*, «старейшина», и, вероятно, чаще всего был мужчиной, одним из представителей старшего поколения группы.

Еще одна – более масштабная – социальная группа называлась **kainanga* и состояла из всей совокупности отдельных домовых групп (**kaainga*) и их владений в пределах определенной географической области. Поскольку в полинезийских обществах был силен организующий принцип порядка рождения, отдельные **kaainga* классифицировались по отношению друг к другу, и глава более крупной группы **kainanga* (некоторые антропологи называют такое образование «кланом»), который носил титул **qariki*, как правило, был членом одной из **kaainga* наиболее высокого ранга³³. Этот **qariki* был и светским, и религиозным лидером сообщества, отвечавшим вместе с советом старейшин **fatu* не только за принятие ряда экономических и политических решений, но также за исполнение членами сообщества ежегодных ритуалов, которые включали в себя посев и уборку батата, а также праздник первых плодов.

Ритуалы и церемонии ППО имели материальный центр – они сосредоточивались вокруг предкового жилища **qariki*, под полом которого, как правило, находилось место захоронения предков. Само жилище, **fareqatua* («дом духов предков»), было расположено на невысоком кургане, который назывался **qafu*. Перед обращенной к морю стороной этого дома находилось расчищенное открытое пространство (**malaqe*), где в самые важные моменты года проводились ключевые ритуалы, в том числе духам предков подносилось психоактивное растение кава (*piper methysticum*). Ежегодная последовательность ритуалов основывалась на тринадцатимесячном лунном календаре с учетом цикла акронического и гелиакического восхода Плеяд (**Mataliki*), с помощью чего календарь синхронизировался с солнечным годом. Ритуальный год был тесно связан и с земледельческим циклом посадки и уборки батата, который, в свою очередь, зависел от ярко выраженной в Западной Полинезии смены влажного и сухого сезонов³⁴.

Сравнительный анализ полинезийских этнографических и исторических языковых данных позволяет обнаружить еще несколько лексически маркированных социальных ролей и статусов в ППО. В частности, в протополинезийском языке существовало отдельное слово для специалиста, особенно для специалиста-ремесленника (**tufunga*), для воина (**toa*), для опытного морехода или навигатора (**tautahi*). В то время как **qariki* или глава сообщества был ответственен за формальные ритуалы годового календаря, основанного на земледельческих циклах, у нас также есть доказательства существования еще одного религиозного статуса, **taaula*, носителя которого можно скорее описать как шамана или медиума, общающегося с духами. Также имеются признаки наличия светского правителя **sau*, который, возможно,

³² C. Levi-Strauss. The Way of the Masks. Washington, DC, 1982. P. 172–187.

³³ Структура положения отдельных **kaainga* или домов, как считалось, была в ППО скорее «гетерархической», чем строго иерархической.

³⁴ Полинезийский лунный календарь обсуждается у Керча и Грина: Kirch and Green. Hawaiki, Ancestral Polynesia. P. 267–276, а схематическое изложение ритуального цикла можно найти на рис. 9.5.

являлся **qariki* самого высокого ранга в более крупном сообществе, состоящем из нескольких **kainanga*³⁵.

Все эти описания иерархии в ППО основаны на сравнительной лексической реконструкции протополинезийских слов, в которой семантические реконструкции дополняются тщательным сравнительным анализом полинезийских этнографических источников с целью выработать ясную гипотезу семантической истории. Однако прямые археологические свидетельства с раскопок по меньшей мере 31 поселения, датированных с помощью радиоуглеродного анализа периодом 1800–2500 лет назад, также дают важную информацию о том, как было устроено ППО³⁶. Поселения, как правило, были небольшими по площади (всего несколько сотен квадратных метров) и часто располагались вдоль прибрежных равнин и береговых валов, что обеспечивало удобный доступ и к морским ресурсам, и к плодородным участкам суши. Этот размер предполагает, что речь идет о градации от отдельных хозяйств до скромных деревень с несколькими дворами и, вероятно, сотней или максимум двумя сотнями жителей. Нет никаких следов монументальных общественных сооружений, а также почти никаких свидетельств какой-либо общественной иерархии.

Из нашей зарисовки очевидно, что зародившиеся в полинезийских архипелагах Тонга и Самоа ППО были социальными формациями относительно небольшого масштаба, в основе которых лежал генеалогический принцип старшинства в роде; эти формации не обладали ни сложной социальной стратификацией, ни иерархией. В середине-конце первого тысячелетия нашей эры началась финальная фаза великого полинезийского расселения по восточной части Тихого океана. Сначала это были разведывательные вылазки с насиженных западных островов в центральную часть восточных островных групп, таких как архипелаги Общества, Кука, Тубуаи, Басс и Маркизские острова. Мангаиа, один из южных островов архипелага Кука, был, вероятно, обнаружен и населен одним из первых – это произошло не позднее X века н. э. Результаты проведенного недавно радиоуглеродного анализа находок с Маркизских островов предполагают, что там первые поселения появились примерно в то же время – около 700–900 годов. Гавайский архипелаг, вероятно, был обнаружен в ходе одного из путешествий с Маркизских островов, скорее всего, в период между 800 и 1000 годами. Таким образом, основатели каждой из групп колонистов во всех трех случаях принадлежали к тесно связанным между собой ветвям ППО. Тем не менее, исследовав этноисторические и этнографические отчеты конца XVIII и начала XIX века о Мангаиа, Маркизах, Гавайях и островах Общества (в том числе записи самого Кука), мы увидим, что различия между этими тремя ветвями – которые начали самостоятельное развитие не более чем за тысячу лет до того – весьма примечательны.

Расположенный в южной части архипелага Кука остров Мангаиа имеет общую площадь около 52 км², и, по средним оценкам, в момент первого контакта с европейцами его население насчитывало, пожалуй, около 5000 человек. Социально-политическая организация острова того периода известна нам из обширных миссионерских описаний, а также «реконструирующей» этнографии начала XX века, особенно работ знаменитого полинезийского ученого Те Ранги Хироа³⁷. Общество острова представляло собой вождескую структуру с верховным вождем (Те Мангаиа) во главе и еще несколькими важными вождескими званиями. Однако вместо того, чтобы наследовать верховенство по старшинству в роде, каждый последующий Те Мангаиа захватывал власть военной силой. Неудивительно, что воины (**toa*) также обладали в этом обществе значительной властью.

³⁵ О термине **sau* и его значении в ППО см.: *M. Taumoeafolau. From *Sau 'Ariki to Hawaiki // Journal of the Polynesian Society. 1996. № 105. P. 385–410.*

³⁶ Перечень предковых полинезийских поселений: *Kirch and Green. Hawaiki, Ancestral Polynesia. Табл. 3.2.*

³⁷ *Te Rangi Hiroa. Manganian Society // Bernice P. Bishop Museum Bulletin. Honolulu, 1934. P. 122.*

Крайне военизированный характер позднего общества Мангаиа тесно связан с физическими и биологическими особенностями среды обитания. Мангаиа – геологически старый остров с сильно выветренным вулканическим рельефом в центральной части, окруженный вдоль берега известняковым валом (поднятым атоллom, «макатеа»), имеющим ширину один-два километра и по большей части совершенно бесплодным. Большая часть выветренной вулканической поверхности острова, как и макатеа, непригодна для культивации из-за недостатка питательных веществ в почве (результат чрезмерного выщелачивания). Радиальные русла дождевых потоков, спускающиеся с центрального вулканического конуса, пересекают внутренние склоны на несколько долин с наносной почвой, в которых и сосредоточена хозяйственная деятельность острова³⁸. Эти долины были покрыты решетчатой сетью заливных полей и оросительных каналов, используемых для интенсивной культивации таро (*colocasia esculenta*), ключевого продукта питания островных жителей. Хотя эти ирригационные системы охватывали лишь два процента поверхности острова, на них приходилась большая часть урожая.

Неудивительно, что эти ирригационные системы (земли *пуна*) высоко ценились и были объектом постоянных раздоров. Устная традиция Мангаиа³⁹ описывает длительную череду межплеменных войн за эти земли. Победители захватывали контроль над оросительными системами, а побежденным оставалось выживать в маргинальной зоне макатеа. Политическая система отражает это более или менее постоянное состояние войны: верховный вождь в любой момент может превратиться в верховного главнокомандующего, Те Мангаиа. Воцарение очередного Те Мангаиа после завоевания земель пуна требовало человеческих жертвоприношений богу Ронго в его главном храме в Оронго. Ронго был одновременно и богом войны, и богом орошения таро; в мирное время ему регулярно приносили в жертву свертки с приготовленным таро. Идеологическая связь между Ронго, войной, таро и человеческими жертвоприношениями была сложной: Ронго обеспечивал как успехи на войне, так и нескончаемое плодородие полей, но для этого требовалось поддерживать бесконечный цикл жертвоприношений – и человеческих, и в виде таро.

Археологические исследования дополняют и развивают эту картину позднего общества Мангаиа, реконструированную силами этноистории и культурной антропологии. Раскопки отчетливо стратифицированного культурного слоя в скальном убежище Тангататау показали, что на острове, начиная примерно с 1000 года нашей эры, все больше истощались или находились под серьезным давлением целый ряд природных пищевых ресурсов, в том числе популяции местных птиц, а также численность рыб и моллюсков. Свиньи, привезенные на остров первыми полинезийскими колонистами, исчезли приблизительно к 1500 году – по-видимому, из-за того, что они непосредственно конкурировали с людьми за ограниченный урожай, который давали огороды и заливные поля. В результате основным наземным источником белка для островитян стала тихоокеанская малая крыса (*rattus exulans*)⁴⁰. Морские ресурсы также существенно истощались в результате непрерывного лова на узком прибрежном рифе⁴¹.

К началу XVII века островитяне жили в скоплениях маленьких деревушек, возведенных на земляных насыпях, рассеянных по невысоким хребтам, окружавшим ирригационные системы таро. Центрами этих населенных пунктов были небольшие храмы (*marae*), каждый из которых был посвящен тому или иному божеству-предку. По меркам археологии эти *marae* неплохо сохранились – они представляют собой площадки, засыпанные коралловым щеб-

³⁸ Мангаиа более подробно обсуждается в: Patrick V. Kirch. The Wet and the Dry: Irrigation and Agricultural Intensification in Polynesia. Chicago, 1994. P. 269–287. См. также данные там ссылки.

³⁹ Эти традиции подробно обсуждаются у: Te Rangi Hiroa. Manganian Society. P. 26–83.

⁴⁰ Ранние миссионеры описывают ловлю этих крыс, и обратите внимание, что после появления христианства субботу сделали основным днем охоты, чтобы обеспечить крыс к воскресной трапезе.

⁴¹ Virginia L. Butler. Changing Fish Use on Mangaia, Southern Cook Islands // International Journal of Osteoarchaeology. 2001. № 11. P. 88–100.

нем, на которых вертикально стоят камни (иногда известняковые сталактиты, принесенные из пещер в скалах макатеа), изображающие определенные божества. Во время постоянных войн жители прятались в пещерах макатеа, где им было легче защититься от набегов врага и не дать ему захватить пленных для жертвоприношений.

Мангайские предания о войнах и личном насилии, пронизывавших позднее доконтактное общество, подтверждаются и археологическими данными. В ходе раскопок в скальном убежище Кейа выяснилось, что это место выполняло особую функцию: здесь обнаружили несколько земляных печей и мусорную кучу, содержащую почти исключительно человеческие останки. В этих печах были приготовлены и, судя по данным тафономического анализа, съедены приблизительно два десятка расчлененных человеческих тел. Свидетельства каннибализма были найдены и еще в нескольких местах раскопок, например в скальном убежище Тангататау.

Резюмируя, можно сказать, что общество Мангаиа развивалось в рамках эволюционной модели, находившейся под мощным давлением относительно ограниченного экологического потенциала этого геологически старого и бедного ресурсами острова. Уровень развития общества не слишком вырос по сравнению с ППО, и многие характерные черты последнего можно отметить в поздней социально-политической организации Мангаиа. Титул главы древнеполинезийского «дома», **qariki*, по-прежнему использовался для обозначения потомственных вождей. Однако главный вождь Те Мангаиа уже не был наследственным правителем; он получал свой титул в результате военных побед. Более того, система ритуалов острова представляла собой не просто земледельческий в своей основе цикл ежегодных обрядов, призванных обеспечить урожайность батата, – она особо подчеркивала поклонение Ронго, двуликому, словно Янус, богу таро и войны. Его главный храм-*marae*, находившийся на побережье Оронго, при каждой интронизации очередного Те Мангаиа становился сценой человеческих жертвоприношений. Таким образом, в культуре Мангаиа мы видим ясные отголоски системы ППО, но значительно преобразившиеся под давлением постоянного дефицита ресурсов – давления, которое неизбежно привело к возникновению общества, основанного на терроре и военном управлении.

Маркизские острова, лежащие между семью и десятью градусами к югу от экватора, располагаются в зоне влажного тропического климата, который (в отличие от субтропического климата Мангаиа) отлично подходит для выращивания корневых, клубневых и древесных культур, завезенных первыми переселенцами с их тропической родины в Западной Полинезии. Однако холодное течение Гумбольдта, идущее с юго-востока на северо-запад мимо десяти крупных островов архипелага, препятствует росту кораллов. Эта особенность в сочетании с большой глубиной в прибрежной зоне помешала образованию обширных коралловых атоллов, за исключением нескольких совсем небольших прибрежных барьерных рифов (таких как Анахо и Ха'атуатуа на острове Нуку-Хива). Поэтому Маркизские острова славятся разнообразием своей береговой линии: множество глубоких заливов, обрамленных утесами и скалистыми мысами; внутренние районы вулканических островов также сильно изрезаны долинами, большинство из которых рассечено устьями никогда не пересыхающих потоков. Площадь Эиао, самого маленького из постоянно обитаемых островов, составляет примерно 52 км² (что равно площади Мангаиа), а крупнейший остров архипелага, Нуку-Хива, раскинулся на 325 км². Площадь земель архипелага, пригодных для жизни и сельского хозяйства, в целом на порядок больше, чем площадь острова Мангаиа. Однако природные условия Маркизских островов тоже создают определенные трудности для устойчивого развития хозяйства; особенно это касается периодически наступающей засухи⁴². Засушливые годы часто приводили

⁴² О влиянии засухи на маркизскую растительность: А. М. Adamson. Marquesan Insects: Environment // Bernice P. Bishop

к гибели урожая хлебного дерева и, как результат, к голоду. Чтобы компенсировать влияние этого бедствия, на Маркизах разработаны особые методы хранения продуктов, но эффективность этих методов резко падает, если засуха длится более одного года.

Социальная, экономическая и политическая организация Маркизских островов на момент контакта с европейцами (который произошел раньше, чем в других областях Полинезии, – во время первой испанской экспедиции под предводительством Менданди в 1595 году) была подробно описана этнографами, например Эдвардом С. К. Хэнди, и историками с антропологической подготовкой, такими как Николас Томас и Грег Денинг⁴³. Максимальная численность местного населения до опустошения, которое произвели на острове завезенные европейцами болезни, была и остается предметом дискуссии, но, на мой взгляд, она составляла не менее 50 000 человек и вполне могла достигать сотни тысяч. Однако никакого политического единства в масштабах архипелага не существовало, и даже отдельные крупные острова, как правило, были разделены на независимые и постоянно воюющие друг с другом политические общности. Лишь остров Уа-Пу, по-видимому, был в той или иной степени объединен под властью одного вождя.

Основной социальной единицей, вокруг которой строилось позднее доконтактное маркизское общество, было племя (*tribe*), как его называл Хэнди, – родственная группа, прослеживающая свое происхождение от общего предка-прародителя⁴⁴. Местный термин для обозначения этой социальной группы, *mata'eina'a*, представляет собой маркизский вариант протополинезийского слова **kainanga*, которое, как мы уже видели ранее, можно возвести к ППО⁴⁵. Одна или несколько *mata'eina'a*, занимающие крупную долину (и, возможно, смежные с ней небольшие долины), образовывали маркизскую социальную единицу. Примечательно, что исходный протополинезийский термин **kaainga*, отсылающий к групповому дому и его собственности, хоть и сохранился в маркизском словаре в виде слова *aika*, но выражал лишь обобщенную идею «земли» или «имущества», утратив свое первичное значение социальной группы. Такое изменение в семантике указывает на значительные общественные сдвиги и имеет параллели в гавайском языке, о чем мы поговорим ниже.

Предводителями *mata'eina'a* были *haka'iki* – термин, родственный протополинезийскому **qariki*. *Haka'iki* были генеалогически старшими членами рода. Тем не менее маркизские *haka'iki*, хотя и обладали священным статусом (*tapu*), должны были в рамках сложных и переменчивых взаимоотношений уступать часть власти носителям двух других общественных статусов: шаманам-духовидцам (*tau'a*) и воинам (*toa*). *Tau'a* (от протополинезийского **taaula*) были медиумами – то есть представителями класса, существующего во всех полинезийских сообществах. Однако именно на Маркизских островах они добились особенного влияния в обществе, так что их власть позволяла им сравниться могуществом с потомственными предводителями *haka'iki* или даже превзойти последних. *Tau'a* проживали в погребальных храмах (*me'ae*), как правило, расположенных в отдаленных внутренних частях долин. На массивных

Museum Bulletin. Honolulu, 1936. № 139.

⁴³ Классическое этнографическое описание Маркизских островов: *Edward S. C. Handy*. *The Native Culture of the Marquesas // Bernice P. Bishop Museum Bulletin*. Honolulu, 1923. № 9. Переосмысление маркизской социальной организации: *Nicholas Thomas*. *Marquesan Societies: Inequality and Political Transformation in Eastern Polynesia*. Oxford, 1990. Исторические исследования Маркизских островов во многом строятся на работах Грега Денинга, особенно: *Greg Denning*. *Islands and Beaches: Discourse on a Silent Land, Marquesas 1774–1880*. Honolulu, 1980.

⁴⁴ Хотя антропологи обычно называют такие социальные единицы «восходящими к» предковой, в концепции мировоззрения коренных полинезийцев они являются «восходящими от», поскольку, следуя ботанической метафоре, последнее поколение отпрысков формирует новые ветви генеалогического древа, а предки являются ее «стволом» или основанием. Таким образом, потомки «восходят» вверх по ветви.

⁴⁵ Этот термин имеет несколько сложную семантическую историю: протополинезийское **kainanga* приходит к *'eina'a* через серию стандартных звуковых чередований, в том числе смену протополинезийских **k* и **ng* на маркизский (гортанный смычка), а также добавление префикса *mata*.

каменных фундаментах возвышались конструкции из жердей и соломы, украшенные человеческими черепами и костями. *Tau'a* проводили большинство важнейших ритуалов, на которых строился годовой цикл, решали, когда следует начать войну или совершить набег на соседние племена, и отвечали за организацию крупных празднеств, которые требовали человеческих жертвоприношений.

Волю *tau'a* исполняли *toa*, воины – это были не профессиональные военные, а просто главы видных семей, имевших в собственности землю и обладавших другими привилегиями. *Toa* выделялись среди других островитян обширными татуировками и другими материальными символами своего статуса. Последним из престижных социальных титулов в позднем маркизском обществе был *tuhuna* (от протополинезийского **tufunga*); термин обозначал лиц, обладающих специальными профессиональными знаниями, – это были рыбаки, камнерезы и строители, а также мастера по нанесению татуировок.

Экономическая система, лежащая в основе этого сложного вождества, сочетала в себе культивацию основных сельскохозяйственных культур с животноводством (в частности разведением свиней) и эксплуатацией морских ресурсов. Несмотря на то что рыболовство и собирание моллюсков имели немалое значение, отсутствие коралловых рифов ограничивало общий объем доступной биомассы в маркизских заливах и прибрежных водах. Первостепенную важность для выживания на островах имела культивация двух основных крахмалоносных растений: хлебного дерева (*artocarpus altilis*) и таро. Маркизский климат особенно благоприятен для роста хлебного дерева, и больше нигде в тропической Полинезии выживание поселенцев не зависело в такой степени от урожая данной культуры, как в этом архипелаге. В долинах располагались обширные плантации, а более мелкие участки были отданы под ирригационные заливные поля таро (такие же, как на Мангаиа). Когда урожаи хлебного дерева были богатыми, избыток плодов отправлялся в подземные ямы или хранилища, где в результате полуанаэробной ферментации крахмалистая масса (ее называли *ma*) могла храниться до нескольких лет. Чаще всего ямы для *ma* находились вблизи жилищ, но в тех местах в долинах, которые было легче всего оборонять, или на укрепленных вершинах хребтов располагались также большие общественные хранилища. Когда во времена засухи и неурожая наступал голод, именно тем людям, кто имел доступ к запасам *ma*, удавалось пережить нехватку продовольствия. Первые европейские посетители Маркизских островов постоянно отмечают серьезные последствия таких периодов голода и важность доступа к запасам.

Пожалуй, неудивительно, что в столь непредсказуемой ситуации, когда в одни годы пищи хватало с лихвой, а в другие не хватает, вождества, занимавшие отдельные долины на отдельных островах, часто враждовали друг с другом. В самом деле, в устройстве позднего доконтактного маркизского общества поражает именно тот факт, насколько эндемичными для него стали набеги и войны, тесно связанные с годовым циклом пиршеств и ритуализированного каннибализма, которые я в другой своей работе назвал «конкурентной инволюцией»⁴⁶. Соперничество между *mata'eina'a*, которое имело решающее значение для престижа *tau'a* и *toa*, включало в себя устройство праздников (*ko'ina*), которыми отмечались самые разнообразные события, в том числе рождение наследников вождя, обручение и свадьба высокопоставленных членов общества, окончание сбора урожая, победа в войне, но самое главное – смерть и последующая мемориализация верховного *tau'a*. Поминальные церемонии в честь таких *tau'a* (их называли *tau*) были более важными и впечатляющими, чем у многих наследственных *haka'iki*. Что самое главное, обряд *tau* обязательно требовал человеческого жертвоприношения (и ритуального поедания жертвы); как правило, жертвой был пленник, захваченный в одном из соседних племен, – так поддерживался бесконечный цикл набегов и отмщения.

⁴⁶ См.: Patrick Kirch. Chiefship and Competitive Involution: The Marquesas Islands of Eastern Polynesia // *Chiefdoms: Power, Economy, and Ideology* / ed. T. Earle. New York, 1991. P. 119–145.

Совершенно очевидно, что позднее маркизское общество ответвилось от общего ствола ППО в направлении, во многом схожем с направлением развития Мангаиа. Во всяком случае, особый акцент на конкуренцию, междоусобные войны и культ человеческих жертвоприношений демонстрируют немало параллелей. С другой стороны, малые размеры Мангаиа позволили провести политическое объединение в масштабах всего острова, в то время как географическая неоднородность и топографическая изоляция маркизских долин способствовали политической разрозненности. Кроме того, хозяйственные системы производства развивались по разным траекториям: на Мангаиа упор делался на ирригационную культивацию таро, а на Маркизах доминировало разведение хлебных деревьев (и строительство хранилищ для урожая).

Маркизские археологические свидетельства особенно богаты и были хорошо исследованы в течение последних пятидесяти лет, что позволило нам значительно углубить понимание временного процесса, который заставил маркизское общество двинуться по описанному выше пути развития⁴⁷. Даты первоначального прибытия и расселения полинезийцев по архипелагу остаются спорными, но появляющиеся результаты радиоуглеродного анализа позволяют предположить, что оно вряд ли случилось намного раньше, чем в 700–800 годах нашей эры. Самые ранние зафиксированные поселения – это прибрежные поселки и иногда скальные убежища, и типы артефактов, обнаруживаемые на этих объектах, очень похожи на материалы из ранних слоев Тангататау на острове Мангаиа и других ранних восточнополинезийских памятников. Это позволяет предположить, что на раннем этапе расселения полинезийцев между общинами прародителей по всей Центральной и Восточной Полинезии поддерживались постоянные контакты.

Серьезные изменения начинают проявляться в эпоху, получившую название Период экспансии маркизской культурной секвенции (*Expansion Period of the Marquesan cultural sequence*), которую Скаггс первоначально датировал 1100–1400 годами нашей эры. Однако, как показывают новые данные, она, вероятно, началась несколько позже – быть может, примерно в 1200–1300 годах. Какая бы датировка ни оказалась более точной, этот период экспансии отмечен несколькими тенденциями. Среди них – рост популяции, о котором свидетельствует большое количество новых поселений; продвижение островитян вглубь крупных долин и на более засушливые, менее благоприятные для жизни территории; рост потребления природных пищевых ресурсов, таких как птицы, рыба и моллюски, что привело к истощению ресурсов; а также увеличение производства свинины и развитие земледелия.

Особенный интерес представляют археологические свидетельства существования монументальной архитектуры, поскольку такая архитектура тесно коррелирует с этнографически задокументированными паттернами социального статуса и церемониальных пиршеств, описанных выше. Маркизские ландшафты отмечены несколькими типами больших каменных конструкций, в том числе тут имеются: (1) *раерае*, приподнятые платформы для жилых домов; (2) *те'ае* – каменные фундаменты храмов, которые использовались влиятельными жрецами *таи'а*; и (3) *тохуа* – просторные террасы, окруженные *раерае* и часто дополненные *те'ае*, которые исполняли роль церемониальных площадок во время больших праздников. Самые крупные *тохуа* – это заглубленные в землю структуры, иногда охватывающие площадь в сотни квадратных метров и включающие десятки вспомогательных *раерае* и других построек; их возведение наверняка требовало немалых трудов. Хотя на сегодняшний день лишь в нескольких из таких *тохуа* проведены раскопки, имеющиеся данные говорят, что впервые эти структуры начали

⁴⁷ Некоторые ранние работы по маркизской археологии, имеющие ключевое значение: *Ralph Linton. Archaeology of the Marquesas Islands // Bernice P. Bishop Museum Bulletin. Honolulu, 1925. № 23; Robert Carl Suggs. The Archaeology of Nuku Hiva, Marquesas Islands, French Polynesia // American Museum of Natural History Anthropological Papers. New York, 1961. № 49.* Более современное обозрение маркизской археологии и истории культуры: *Barry V. Rolett. Hanamiai: Prehistoric Colonization and Cultural Change in the Marquesas Islands // Yale University Publications in Anthropology. New Haven, CT, 1998. № 81.*

строить в Период экспансии. Тем не менее эпохой наиболее активной строительной деятельности определенно был Классический период (по терминологии Сагса), начавшийся за сто или двести лет до первого контакта с европейцами и продолжавшийся еще некоторое время после этого контакта. Вне всякого сомнения, это был период развития подтвержденной этнографическими данными модели конкурентной инволюции, для которой характерны непрерывные набеги, устройство все более грандиозных празднеств и все больший упор на человеческие жертвоприношения. Вероятно, именно в течение этого заключительного этапа доконтактной эпохи, когда плотность населения достигла пика, а периодические засухи и голод стали приводить к наиболее тяжелым последствиям, социально-политическая система Маркизских островов претерпела самые коренные изменения, отойдя от древней полинезийской модели и превратившись в то, что Томас назвал «нестабильной и конкурентной» социальной системой⁴⁸. Обширные площади *tohua* и другие мегалитические сооружения, характерные для этого периода, являются материальными свидетельствами борьбы за престиж и власть, которая разыгралась между потомственными *haka'iki*, изо всех сил старавшимися сохранить традиционный статус, с одной стороны, и *tau'a* и *toa*, которые обнаружили неисчислимые возможности высидеться в переменчивых и часто опасных условиях маркизского общества.

* * *

Войдя в гавайскую бухту Кеалакекуа 17 января 1779 года, капитан Джеймс Кук обнаружил на острове не только самое многочисленное население, которое ему приходилось видеть за время трех больших морских путешествий по Полинезии, но и общество, которое совсем недавно претерпело коренные преобразования. Бухта Кеалакекуа и расположенная поблизости королевская резиденция Хонаунау представляли собой сердце островного королевства Гавайи, которое впервые объединил под своей единоличной властью в 1600 году великий военачальник 'Уми-а-Лилоа, завоевавший пять ранее независимых вожеств. Приблизительно в то же самое время на соседнем острове Мауи другой великий вождь, Пи'илани, тоже добился единоличной власти, к тому же покорив и объединив со своими владениями мелкие острова Ланаи, Кахоолаве и часть острова Молокаи. Правящие дома Мауи и Гавайи властвовали над подданными численностью от шестидесяти до ста тысяч человек. В течение XVII и XVIII веков, предшествовавших эффектному (и, для Кука, фатальному) появлению европейцев на ранее изолированном архипелаге, на Гавайях происходили значительные экономические, социальные, политические и религиозные изменения – изменения, которые в конечном счете привели к тому, что гавайская ветвь полинезийского культурного древа стала резко выделяться среди своих родственных культур.

Гавайский архипелаг разительным образом отличается от бедных ресурсами Маркизских островов или Мангаиа. Он включает в себя восемь крупных островов и множество мелких, общая площадь которых составляет 16 720 км². Цепь островов сформировалась над геологической «горячей точкой» (в настоящее время располагающейся под островом Гавайи) и демонстрирует возрастную прогрессию в результате движения тектонической Тихоокеанской плиты. Иными словами, хотя большой восточный остров Гавайи все еще геологически активен, острова, находящиеся дальше к западу, все более и более старые, их поверхность подверглась более сильной эрозии, и они имеют другие приметы возраста, такие как постоянные водные потоки и развитые коралловые рифы. Поэтому обеспеченность ресурсами на разных островах сильно различается. В частности, большие, геологически молодые острова Гавайи и Мауи в основном не имеют постоянных рек (за некоторыми исключениями), так что земледельче-

⁴⁸ Thomas. Marquesan Societies. P. 175.

ские системы, разработанные полинезийцами на этих больших островах, неизбежно зависели в первую очередь от осадков. Обширные системы сельскохозяйственных полей для неорошаемого возделывания батата (*ipomoea batatas*) и таро, вместе с второстепенными культурами, такими как сахарный тростник, стали появляться на этих островах приблизительно в 1400 году нашей эры. На старых островах – от Молокаи до Кауаи – наличие постоянных водных потоков позволило расположить ирригационные поля таро в долинах (так же, как и на Мангаиа). Кроме того, более развитые барьерные рифы старых островов позволили построить вдоль их берегов многочисленные рыбные садки с каменными стенками, в которых можно было, в дополнение к рыболовству и собиранию моллюсков на рифе, разводить кефаль и молочную рыбу. На более старых западных островах обширные ирригационные системы были построены приблизительно в 1200 году нашей эры, а сеть рыбных прудов начала появляться ближе к началу XV века.

Иными словами, к тому времени, как вожди ‘Уми-а-Лилоа и Пи’илани завоевали и централизовали власть на Гавайях и Мауи соответственно (то есть около 1600 года), экономическая база производства продовольствия на архипелаге приобрела характерные черты, полностью зависящие от топографии. На более старых островах от Молокаи до Кауаи долины и аллювиальные (наносные) равнины были повсеместно расчищены ради ирригационной культивации таро, а вдоль береговых линий протянулись извилистые каменные стены, превратившие прибрежную зону в просторные рыбные пруды. В то же время на островах Мауи и Гавайи ирригационные работы были возможны лишь на сравнительно ограниченной территории, а большая часть крахмалосодержащих продуктов ежедневного рациона выращивалась на обширных склонах возвышенностей (Каупо, Кахикинуи и Кула – на Мауи, Кохала, Кона и Ка’у – на Гавайи). Там, где имелось идеальное сочетание относительно молодых (и, следовательно, еще богатых питательными веществами) подпочв и достаточного количества осадков (не меньше 700 мм в год), склоны превращались в систему практически непрерывно используемых неорошаемых полей. Поля Кохалы на острове Гавайи, хорошо изученные с археологической точки зрения, раскинулись на площади не менее 50 км² и разделены сетью изгородей и пересекающихся троп. По всей территории рассыпаны сотни жилых структур и более обширные каменные храмовые платформы (*heiau*)⁴⁹.

Эти две различных системы сельскохозяйственного производства – ирригация и аквакультура на старых островах, неорошаемые поля на молодых – предполагали различные пути интенсификации сельского хозяйства, а также разные объемы излишков производства и разную степень опасности для окружающей среды⁵⁰. Интенсификация обычно определяется как увеличение вложений труда, капитала или навыков вплоть до предела экономической целесообразности при сохранении постоянной площади земельного участка. В случае оросительных систем интенсификация означала строительство постоянных объектов (каналы, террасы) – то, что Гарольд Брукфилд называл «интенсификацией земельного капитала» (*landesque capital intensification*)⁵¹. Хотя само строительство требовало значительных усилий, для поддержания уже построенных систем можно было обойтись относительно низкими затратами труда. Более того, они могли давать существенный избыток урожая сверх того, что требовалось, чтобы окупить рабочую силу. А вот неорошаемые или орошаемые только дождем поля Мауи и

⁴⁹ Современные археологические исследования системы полей Кохалы: T. N. Lidefoged, M. W. Graves, and R. P. Jennings. Dryland Agricultural Expansion and Intensification in Kohala, Hawai'i Island // *Antiquity*. 1996. № 70. P. 861–880; а также: T. N. Lidefoged, M. W. Graves, and M. D. McCoy. Archaeological Evidence for Agricultural Development in Kohala, Island of Hawai'i // *Journal of Archaeological Science*. 2003. № 30. P. 923–940.

⁵⁰ Patrick V. Kirch. Agricultural Intensification: A Polynesian Perspective // *Agricultural Strategies* / eds. Joyce Marcus and Charles Stanish. Los Angeles, 2006. P. 191–220.

⁵¹ Harold C. Brookfield. Intensification and Disintensification in Pacific Agriculture: A Theoretical Approach // *Pacific Viewpoint*. 1972. № 13. P. 30–48. См. также: H. C. Brookfield. Intensification Revisited // *Pacific Viewpoint*. 1984. № 25. P. 15–44.

Гавайи следовали по пути интенсификации посевного цикла, во многом такого, какой описан Эстер Бозеруп в ее классической работе о повышении эффективности сельского хозяйства⁵². В данном случае повышения урожайности добиваются, увеличивая промежуток между двумя севами (пар) на одном и том же участке и, соответственно, постоянно разделяя поля на все более мелкие участки; трудозатраты здесь неизменно велики, поскольку с течением времени приходится все больше полоть посадки и мульчировать их (присыпать ряды между растениями компостом, скошенной травой и т. п.). Хотя неорошаемые системы тоже имеют некоторый потенциал для производства избытка продовольствия, он не так велик, как в орошаемых системах, и плодородность может даже начать снижаться с течением времени, если слишком частый сев и сбор урожая приведут к истощению почвы⁵³. Кроме того, неорошаемые полевые системы подвержены ежегодным колебаниям количества осадков и особенно уязвимы в засушливые годы. Гавайская устная традиция помнит опустошительные периоды засухи, порой даже приводившие к политическим восстаниям.

Локусами главных социополитических преобразований в гавайском обществе позднего периода (начиная примерно с 1600 года) были более молодые острова Мауи и Гавайи, сельское хозяйство которых опиралось на неорошаемые поля. Разработка этих огромных суходолов, стартовавшая приблизительно в начале XV века, стимулировала значительный рост населения, и урожаи были настолько обильны, что обеспечили устойчивые излишки продовольствия, укрепившие позиции местных вождей. Прошло два столетия, и в весьма многочисленных теперь популяциях на обоих островах началось постоянное соперничество за право контроля над территорией; причиной конфликтов часто становилась засуха или просто необходимость освоения новых земель. Подобная территориальная конкуренция и породила крупных военачальников Пи'илани и 'Уми-а-Лилоа, первый из которых в конце концов консолидировал власть, а второй – сменил политическое устройство Мауи и Гавайи с вождей на королевство.

Небольшой размер этого эссе не позволяет рассмотреть здесь все остальные изменения, которыми сопровождалась политическая трансформация позднегавайского общества, так что придется упомянуть лишь немногие из них⁵⁴. Главное: претерпела радикальные преобразования сама наследственная природа правления. Термин из эпохи ППО **qariki*, первоначально обозначавший старшего предводителя наследственной группы, переродился в гавайское слово *ali'i*, которое обозначало имеющий внутреннюю иерархию, большей частью эндогамный класс элиты. В нем господствовала сложная система смешанных браков, в том числе союзы братьев с сестрами на самых высоких уровнях. *Ali'i* высшего ранга считались королями божественного происхождения; их родословные связывали их с богами. Новоприобретенный статус этих высокопоставленных лиц подтверждался сложной системой санкций (*kapu*, или табу), введенных для изоляции их персон от остальных соплеменников, защиты и гарантии их доступа к самой изысканной пище, а также материальными символами (такими как заслуженно знаменитые мантии и плащи из желтых и красных птичьих перьев, которые Кук впервые привез в Европу из путешествия 1778–1779 года).

Социальная организация класса простолюдинов, а также его права на землю и другое имущество тоже резко изменились по сравнению со старыми моделями ППО. Простых членов общества стали называть словом *maka'āinana*, близким древнему протополинезийскому слову,

⁵² E. Boserup. The Conditions of Agricultural Growth: The Economics of Agrarian Change under Population Pressure. Chicago, 1965. См. также об интенсификации посевного цикла у Керча: Kirch. Agricultural Intensification. P. 200–203.

⁵³ Такое истощение, вызванное земледельческими практиками доконтактной эпохи, недавно демонстрировалось на примере системы суходольных полей Кахикинуи на острове Мауи. См.: A. S. Hartshorn, P. V. Kirch, O. A. Chadwick, and P. M. Vitousek. Prehistoric Agricultural Depletion of Soil Nutrients in Hawai'i // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2006. № 103. P. 11092–11097.

⁵⁴ Общая информация о возникновении общества уровня «архаического государства» на Гавайях конца доконтактного периода: Patrick V. Kirch. From Chiefdom to Archaic State: Social Evolution in Hawaii. Provo, UT, 2005.

обозначающему родственную группу, **kainanga* (также нашедшему отражение в маркизском термине *mata'eina'a*), которое, однако, утратило свой первоначальный смысл, подчеркивавший генеалогическую природу родства. Вот еще более красноречивое свидетельство: протополинезийское слово **kaainga*, которое, как мы уже рассмотрели, первоначально служило для обозначения группы живущих совместно членов «дома» и принадлежащего этой группе имущества, превратилось в гавайское *'āina*, что означает «земля» в общем смысле. Этот крайне важный семантический сдвиг неразрывно связан с трансформацией системы землепользования, в соответствии с которой *ali'i* теперь получали во владение части территории острова (которые назывались *ahupua'a*, «свиные алтари») в обмен на поддержку, которую они оказывали королю, причем землю на этих участках обрабатывали простолюдины. Последние должны были постоянно подтверждать свои права на пахотные земли и ресурсы тем, что регулярно оплачивали их трудом и данью, а если они не выполняли этих требований, их можно было лишить земли. Эти факты отмечают радикальный отход от древней полинезийской системы, в которой право на землю определялось по праву рождения и включением в «домовую» группу **kaainga*.

Наконец, и религиозная система тоже подверглась значительным модификациям, многие из которых можно установить археологическими методами, изучая обширные каменные фундаменты храмов, разбросанные по всей территории островов. Старая, существовавшая в ППО концепция дома вождя и прилегающей **malaqe* как ритуального центра общины была заменена сложной иерархией разнообразных по своему назначению храмов, которые все описывались обобщающим гавайским термином *heiau*. Короли при помощи класса жрецов (*kahuna*, от древнего протополинезийского термина **tufunga*), проводили в военных храмах (*luakini*) замысловатые и дорогостоящие обряды, которые часто требовали человеческих жертвоприношений. Рассеянные по сельскохозяйственным угодьям мелкие храмы, посвященные богам земледелия (Лоно – в сухоходольных областях, Кане – в орошаемых), служили для ритуального регулирования системы хозяйственного производства. На островах Гавайи и Мауи окончание основного сезона выращивания батата на полевых системах отмечалось ежегодным обрядом Макахики, приближение которого возвещалось первым появлением Плеяд на закате, то есть примерно в конце ноября⁵⁵. Вслед за этим ритуальная процессия, состоящая из жрецов Лоно и воинов, обходила по очереди каждый надел *ahupua'a* для сбора дани. Таким образом, как и во многих других обществах раннегосударственного типа, налогообложение было глубоко интегрировано в систему религиозной идеологии.

Из трех полинезийских обществ, истории которых я здесь коротко рассказал, на Гавайях преобразование общества и политической экономики дальше всех отошло от своих корней в ППО. Как однажды заметил Салинс, Гавайи довели

базовые противоречия между домашним и общественным хозяйством до абсолютного кризиса, обнажившего, кажется, не только само это противоречие, но экономические и политические ограничения родового общества в принципе⁵⁶.

К счастью, с помощью сравнительного анализа, особенно подкрепленного детальной историко-лингвистической реконструкцией, позволяющей определить, что гавайское слово «земля» (*'āina*) представляет собой потомка древнего термина, обозначавшего родственную группу, проживающую на одной территории (**kaainga*), мы можем разглядеть в высокоразвитых структурах позднего гавайского общества глубокие корни, уходящие в ППО. В случае

⁵⁵ Очевидно, именно появление капитана Кука как раз в это время (вкуче с иными обстоятельствами) побудило гавайских жрецов объявить его вернувшимся богом Лоно. См.: *Marshall Sahlins. Historical Metaphors and Mythical Realities: Structure in the Early History of the Sandwich Islands Kingdom. Ann Arbor, MI, 1981.*

⁵⁶ *Marshall Sahlins. Stone Age Economics. Chicago, 1972. P. 141.*

Гавайских островов нашему взгляду открывается процесс преобразования племен в новую форму социополитической структуры – архаическое государство.

На предыдущих страницах я попытался показать, каких результатов можно достичь, применив тщательно сформулированный метод контролируемого сравнения к изучению истории о том, как несколько близкородственных обществ удалились от единого предка и претерпели на этом пути уникальные трансформации. В рамках этого метода, который предполагает использование одновременно филогенетической модели и триангуляционного подхода, рассматриваются (1) реконструкция множества особенностей предковых обществ, из которых позже появились этнографически засвидетельствованные «дочерние» общества, и (2) конкретные пути, по которым с течением времени шли изменения особенностей отдельных обществ. Важно также отметить, что такой подход к исторической антропологии в полной мере пользуется данными сравнительно-исторического языкознания, сравнительной этнографии и этнической истории, а также археологии и вследствие этого располагает одновременно и надежной теоретической базой, и обилием эмпирических источников.

Все три полинезийских общества, рассмотренных в этой статье, начали свое историческое развитие приблизительно с одного и того же культурного фундамента, но примерно через тысячу лет обзавелись поразительными индивидуальными чертами. Метод контролируемого сравнения позволяет определить, какие черты каждого общества контактной эпохи сохранили влияние предковой модели, а какие представляют собой новации. Это означает, что теперь мы можем приняться за решение известной фундаментальной проблемы: как различить гомологичные и аналогичные особенности строения (в нашем случае, конечно, эти особенности являются культурными, а не биологическими)? А там, где удастся выявить новации, можно начать задавать вопросы о том, нет ли в этих случаях конвергентного сходства, ставшего, возможно, результатом похожих условий или ограничений. Например, возникновение на Мангаиа и Маркизском архипелаге переменчивых социополитических образований, в которых потомственные вожди, жрецы и воины вели постоянное соперничество за власть, возможно, коррелирует со сходными условиями (истощение ресурсов, высокая плотность населения, пределы интенсификации сельского хозяйства), имевшимися на этих островах. Конечно же, Гавайи пошли по другому пути культурной эволюции, и это привело к совершенно иным результатам: наследственные вожди присвоили себе статус королей божественного происхождения, при этом полностью подчинив и поставив под контроль потенциальную мощь жреческого и воинского классов.

Таблица 1.1. Трансформация некоторых ключевых протополнезийских терминов и понятий в языках Мангаиа, Маркизских и Гавайских островов

Протополинезийский термин	Мангаиа	Маркизы	Гавайи
<i>Общественная организация</i>			
* <i>kaainga</i> , «домовая группа»	<i>kainga</i> , место жительства и закрепленные за ним сады	<i>aika</i> , общий термин для земли или собственности	<i>āina</i> , обобщенный термин, «земля»
* <i>[mata]-kainanga</i> , сообщество	термин отсутствует	<i>mata'eina'a</i> , общая родственная группа	<i>maka'āinana</i> , обобщенный термин, «простолудин»
<i>Социальный статус</i>			
* <i>qariki</i> , лидер сообщества	<i>ariki</i> , передающийся по наследству титул	<i>baka'iki</i> , потомственный вождь	<i>ali'i</i> , класс вождеской элиты
* <i>toa</i> , воин	<i>toa</i> , воин	<i>toa</i> , воин	<i>koa</i> , воин
* <i>taaula</i> , жрец, шаман	<i>pi'a atua</i> , жрец	<i>tai'a</i> , духовный жрец	<i>kāula</i> , пророк, провидец
* <i>tifunga</i> , специалист	<i>ta'unga</i> , мастер, умелец, специалист (светское)	<i>tuhuna</i> , умелец, специалист (светское)	<i>kabuna</i> , термин для обозначения класса духовенства
<i>Термины для ритуальных площадок</i>			
* <i>malaqe</i> , открытое пространство для церемоний	<i>marae</i> , храмовая площадка с вертикально стоящими камнями	<i>me'ae</i> , погребальные храмы <i>tai'a</i>	заменено на <i>heiau</i> — разнообразные функционально-специфичные храмы, принадлежащие отдельным культам
* <i>qafu</i> , священный домовый курган	<i>a'i</i> , строить или ремонтировать <i>marae</i>	<i>ahi</i> , священное пространство	<i>ahi</i> , алтарь, каменная пирамида. Компонент составного термина <i>ahupua'a</i> , «свиной алтарь», обозначающего территориальные единицы

Различия, которые зародились на этих расходящихся путях культурного развития, можно оценить с особенной ясностью через призму исторического и сравнительного языкознания. В таблице 1.1 перечислено некоторое количество ключевых протополинезийских терминов, относящихся к общественной организации, социальному статусу и ритуальным структурам, а также их когнатные рефлексии и семантические глоссы в языках Мангаиа, Маркизских и Гавайских островов. То, как упорно корни лексем сохраняются в языках на протяжении столь долгого времени, ясно свидетельствует о культурном консерватизме. И действительно, немногие случаи лексических нововведений (например, гавайские термины *ahupua'a* и *heiau*) недвусмысленно свидетельствуют о серьезных общественных преобразованиях. Но более примечательны семантические сдвиги – иногда незначительные, а иногда и принципиальные, – которые сопровождают этот устойчивый словарный запас. Путем изучения таких сдвигов мы можем наиболее полно представить себе, какими способами эти три полинезийских общества преобразили общую предковую модель в соответствии с конкретными территориальными условиями и непредвиденными поворотами истории. Поэтому позвольте мне заключить мое эссе кратким обзором таких исторических расхождений.

В ППО ключевым элементом организации сообществ были два основных уровня социальных групп: местные **kaainga* и более обширные **kainanga*. Первые представляли собой базовую единицу жилья и земельных владений. Определенно, столь фундаментальная социальная концепция могла претерпеть изменения лишь вследствие глубинных преобразований в социополитическом устройстве. Однако, снова бросив взгляд на три примера, о которых мы говорили в этой статье, я вижу, что близкий к первоначальному смысл у этого термина сохранился только на Мангаиа. На Маркизских островах территориальная принадлежность потеряла свою значимость с началом борьбы за власть и статус, и доминирующей социальной единицей стало племя, *mata'eina'a*, трансформированный вариант древнего **kainanga*. А на Гавайях социополитическая эволюция зашла еще гораздо дальше: общество было преобразовано из мелкого вождества в зарождающееся архаическое государство. В данном случае, хотя оба древних термина сохранились в языке в лингвистически распознаваемой форме (протополинезийское **kaainga* → гавайское *āina*; протополинезийское **[mata]-kainanga* → гавайское *maka'āinana*), семантический смысл, которым гавайский язык наделяет эти понятия, имеет

мало общего с их первоначальными значениями. *‘Āina* теперь обозначает землю в самом общем смысле без каких-либо намеков на ее принадлежность определенной группе (что естественно, поскольку исключительный контроль над территориальными единицами перешел к правящему классу). И в этом крайне стратифицированном обществе термин *maka‘āinana* стал обозначением класса простолюдинов, противопоставленного элите. Такие различия позволяют нам предельно ясно увидеть, что именно в этих социальных историях гомологично (сохранение определенных категорий), а что представляет собой новации.

Следующий набор из четырех лексических категорий в таблице 1.1 связан с ключевыми позициями социального статуса, которые в ППО выделялись таким образом: **qariki* – светский-священный лидер общины, **toa* – воины, **taaula* – шаман или жрец и **tufunga* – специалист в каком-либо ремесле. Опять же, сами корни лексем выдерживают испытание временем, однако происходят наглядные смысловые трансформации (лишь на Мангаиа появилось совершенно новое слово для священнослужителя – *pi‘a atua*). Поздние доконтактные мангайское и маркизское общества сохранили идею *ariki* или *haka‘iki* как потомственного лидера родственной группы, но роль и функции этих лидеров значительно разошлись с теми, которые мы можем предположить в ППО. В гавайском языке, однако, родственный термин *ali‘i* стал обозначать весь класс элиты – вождеский «конический клан», все представители которого декларировали свое родство с богами, одновременно подчеркивая собственную самобытность по сравнению с классом простолюдинов (*maka‘āinana*). В самом деле, на Гавайях внутри *ali‘i* различалось по крайней мере девять лексически маркированных рангов вождей и младших вождей, что отражало важность, которую это зарождающееся архаическое государство придавало стратификации.

Все эти восточные полинезийские общества сохранили один и тот же протополнезийский термин *toa* или *koa*, обозначающий воина, – поразительный случай культурного консерватизма. Конечно, конкретные роли воинов в каждом обществе несколько различались, как я уже говорил выше. Однако, обратившись к теме священнослужителей, мы тут же заметим значительный отход от первоначальной модели ППО. Протополнезийский **taaula* был, скорее всего, незначительной нитью в полотне социальной жизни общества и остался ею в своих мангайском и гавайском воплощениях. Однако маркизские *tau‘a* стали движущей силой запутанного цикла постоянных набегов, пиршеств и человеческих жертвоприношений. В рамках трансформации религии, которая сопровождала распространенный в позднем доконтактном обществе культ Ронго, островитяне Мангаиа ввели совершенно новый термин для обозначения жрецов – *pi‘a atua*. Гораздо более глубокая трансформация отражена в гавайском рефлексе протополнезийского **tufunga*, первоначально означавшего искусного ремесленника или эксперта в каком-либо деле и сохранившего это значение на Мангаиа и Маркизских островах. На Гавайях слово *kahuna* превратилось в формальный термин, обозначающий класс жрецов (выбираемых, как правило, из младших вождей, или *ali‘i*), внутри которого существовал ряд официальных узких специализаций, связанных с тем или иным культом (например, культом бога войны Ку, бога сухопольного земледелия Лоно или бога-творца и покровителя ирригации Кане). Столь подробное распределение соперничало со стратификацией внутри класса *ali‘i* и вместе с нею отмечало появление административной специализации в системе формирующегося архаического государства.

В последней секции таблицы 1.1 представлены два ключевых термина, относящихся к ритуальным пространствам, и их трансформированные варианты в трех рассматриваемых обществах. Изначальный протополнезийский термин **malaqe*, которым обозначался простой церемониальный двор или площадь, на которых проводились различные ритуалы, сохранился и на Мангаиа, и на Маркизских островах, однако на Гавайях исчез. Святилища острова Мангаиа сохранили близость к изначальной форме: это архитектурно простые площадки, как правило, вымощенные коралловым щебнем и ограниченные с одной стороны невысокими

вертикально поставленными камнями. Эти пространства были посвящены различным обожествленным предкам. В маркизском языке понятие *me'ae*, обозначающее особый вид храма, неразрывно связано с *tau'a*, шаманами-духовидцами, чье влияние в обществе со временем становилось все более серьезным. А вот гавайцы вовсе отказались от этого термина и заменили его новой концепцией *heiau* (которая, вероятно, восходит к глаголу **hai* – «приносить в жертву»). Археологические находки свидетельствуют о заметном росте строительства *heiau* приблизительно в начале XVI века, и это связано с зарождением на острове крупных общественных образований. Кроме того, *heiau* были функционально специализированы и тщательно продуманы: самые крупные постройки, *luakini*, были посвящены богу войны Ку, но храмы других божеств также имели индивидуальные особенности⁵⁷.

Гавайцы позднего доконтактного периода модифицировали и другой старый полинезийский термин – **qafu*, изначально обозначавший курган, на вершине которого, с той стороны, где к нему прилегала ритуальная площадка- **malape*, возвышался священный дом вождя. Далее гавайский рефлекс *ahu* в сочетании со словом «свинья» (*pu'a*) превратился в новый составной термин *ahupua'a*, что дословно значит «свиной алтарь», но на самом деле означает радиальные участки земли, на которые гавайские обожествленные короли теперь разделили свои островные владения. Своим возникновением этот термин, судя по всему, обязан традиции размещения дани (в частности свиней, поскольку они являлись самым ценным источником мяса на островах) на каменных алтарях на границах таких участков. Эта практика была кодифицирована в церемонии Макахики, проводившейся, как мы уже говорили ранее, в честь бога Лоно. Таким образом, в данном конкретном случае гавайского языка мы видим, как изменения концептов прародительской полинезийской общественной организации, социального статуса и ритуальной практики оказались тесно связаны друг с другом – и радикально трансформированы в поздний доисторический период.

В этом эссе я попытался с помощью эмпирически наглядного сравнения трех полинезийских языков продемонстрировать, каким образом применение филогенетической модели и триангуляции может помочь разобраться в случаях гомологии и аналогии, сопровождающих культурную эволюцию. Разнообразные этнографические общества Полинезии демонстрируют множество вариантов социальной организации, способов производства, политико-экономических и религиозных концепций, оставаясь в то же время безошибочно узнаваемой частью более обширной культурной модели. В самом деле, в своей классической работе о полинезийской социальной стратификации Маршалл Салинс, используя метафору биологической эволюции, охарактеризовал различные полинезийские культуры как

виды одного и того же культурного рода, который расселился на обширной территории и адаптировался к различным условиям в местах обитания⁵⁸.

Чтобы понять, как именно то или иное полинезийское общество эволюционировало от общего предка, и проследить исторические пути его культурного развития, требуется тщательно разработанный метод контролируемого сравнения. Только опираясь на мощь такого сравнительного анализа, возможно с некоторой степенью достоверности определить, какие особенности определенного этнографически документированного общества повторяют более старый предковый культурный образец, а какие представляют собой новации. Различение гомологичных и аналогичных черт является первым необходимым шагом к более глубокому пониманию процессов исторических перемен.

⁵⁷ Об иерархии храмов в культуре древних Гавайцев см.: Valerio Valeri. Kingship and Sacrifice: Ritual and Society in Ancient Hawaii. Chicago, 1985.

⁵⁸ Sahlins. Social Stratification. P. ix.

Патрик В. Керч

2. Расцветающий фронтир: бум и крах в истории поселенческих сообществ XIX века

Отчасти это эссе – еще одна попытка объяснить феномен поразительных темпов развития американского Запада. Сию доблестную задачу возлагали на себя не только представители прекрасной плеяды современных «новозападных» историков, но и Фредерик Джексон Тернер в 1890-х годах и Алексис де Токвиль еще в 1830-х. Такие ученые порой стремились найти на дальних рубежах некую квинтэссенцию Америки – пожалуй, не более правдоподобную, чем святой Грааль. Но они также рассматривали и вполне реальный вопрос макроистории – взрывные темпы развития фронта. В 1790 году к западу от Аппалачей проживали сто девять тысяч американских поселенцев. К 1920 году это число выросло до шестидесяти двух миллионов⁵⁹. Причем это были не какие-то нищие обитатели захолустий, а люди, входившие в число самых богатых на планете, строившие города-гиганты – такие как Чикаго, население которого выросло с примерно сотни человек в 1830 году до 2,7 миллиона девяносто лет спустя. Это был, пожалуй, период самого стремительного роста в человеческой истории, и вполне можно понять, почему эта эпоха так завораживает американцев.

Однако у американского Запада был забытый брат-близнец, который родился практически в то же время от тех же родителей и рос столь же примечательными темпами. Это был британский «Дикий Запад», позже известный как «белые доминионы»: Канада, Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка. В 1790 году на территории этого разделенного на отдельные фрагменты «Запада» проживало около 200 тысяч европейских поселенцев, в основном французского происхождения, а к 1920 году – уже 24 миллиона человек, главным образом англичане и ирландцы; меньше, чем на западе США, но не так уж плохо для забытого близнеца⁶⁰. Города британского Запада – Мельбурн и Сидней, Торонто и Кейптаун – тоже росли как грибы, и их белые жители также входили в число самых богатых людей в мире.

С начала 1870-х годов этот новый, взрывной способ освоения отдаленных территорий выходит за пределы англоязычных «западов». Здесь можно назвать Маньчжурию, Уругвай и некоторые части Бразилии, но два самых ярких примера – это Аргентина и Сибирь. Несмотря на экспорт шкур и шерсти, несмотря на приток иностранных инвестиций в 1820-х годах, до 1870-х Аргентина никак не могла начать развиваться так, как ожидала ее правящая элита. Однако с этого десятилетия пампасы центральной Аргентины стали полигоном взрывного роста. Население страны увеличилось в четыре раза: с 1,8 миллиона в 1869 году до почти восьми миллионов в 1914-м, причем более 90 % составляли выходцы из Европы⁶¹. Население наиболее активно развивающихся регионов (город Буэнос-Айрес с одноименной провинцией и провинция Санта-Фе) выросло в восемь раз. Так же, как и на англоязычных фронтах, это развитие было и демографическим, и экономическим. У Аргентины была гибридная метрополия: Британия обеспечивала инвестиции и, позднее, предоставила свои рынки; Италия и Испания дали своих мигрантов⁶². Испаноязычные поселенцы были столь же активны. Населе-

⁵⁹ *Margaret Walsh*. *The American West: Visions and Revisions*. New York, 2005. P. 46.

⁶⁰ Здесь и далее, если не указано иначе, статистические данные цитируются по авторитетной работе *B. R. Mitchell*. *International Historical Statistics*. 4th ed. 3 vols. London, 1998.

⁶¹ *Peter Bakewell*. *A History of Latin America: Empires and Sequels, 1450–1930*. Oxford, 1997. P. 460.

⁶² *Rory Miller*. *Britain and Latin America in the 19th and 20th Centuries*. London, 1993. P. 106–107; *The Land that England Lost: Argentina and Britain, a Special Relationship* / eds. Alistair Hennessy and John King. London, 1992; *Donald C. Castro*. *The Development and Politics of Argentine Immigration Policy, 1852–1914: To Govern Is to Populate*. San Francisco, 1991; *Jose C. Moya*. *Cousins and Strangers: Spanish Immigrants in Buenos Aires, 1850–1930*. Berkeley, CA, 1998. По теме аргентинского экономического роста см.: *Jeremy Adelman*. *Frontier Development: Land, Labor, and Capital on the Wheatlands of Argentina and Canada, 1890–1914*; New York, 1994; *Samuel Amaral*. *The Rise of Capitalism on the Pampas: The Estancias of Buenos Aires*. Cambridge, 1997; *Alan*

ние Буэнос-Айреса, «Парижа Южного полушария», насчитывало более полутора миллионов человек, и в 1914 году там уже был метрополитен. Амбиции Аргентины – «быть завтра тем, что США есть сегодня» – казались вполне осуществимыми⁶³.

Сибирь, российский «Дикий Восток», также росла экспоненциальными темпами. Между 1863 и 1914 годами ее население увеличилось более чем в три раза – с 3,1 миллиона человек до десяти миллионов, 80 % которых были русскими. Наиболее активный рост шел в 1890-х и 1900-х годах на юго-западе и юго-востоке страны⁶⁴. Здесь также имели место и урбанизация, и взрывной рост населения. Владивосток, город на Дальнем Востоке России, в 1885–1910 годах вырос в семь раз; Благовещенск, «сибирский Нью-Йорк», – в шесть раз; Иркутск, «сибирский Париж», – в три раза. Иркутск, со своим электрическим освещением, новым зданием оперы, соборами, музеями и тридцатью четырьмя школами вперемешку с деревянными лачугами, «в точности походил на города-муравейники запада США». В 1901 году некий американский торговец сельскохозяйственной утварью утверждал:

Говорю вам, Сибирь станет «новой Америкой», будут там и «калифорнийская» золотая лихорадка, и китайская «желтая опасность»⁶⁵.

Этот поразительный поселенческий бум XIX века происходил отнюдь не размеренно. Для него был характерен трехступенчатый цикл, состоявший из периодов взрывного роста (*boom*), краха (*bust*) и «спасения экспортом» (*export rescue*). Каждый масштабный период подъема, длившийся от пяти до пятнадцати лет, как минимум удваивал население обширной новой зоны освоения в течение всего лишь одного десятилетия. Развивающиеся отдаленные территории импортировали куда больше товаров и капитала, чем экспортировали. Их рынки были динамичными и в высшей степени прибыльными, однако локальными: поселенцы, прибывшие в прошлом году, зарабатывали тем, что обеспечивали иммигрантов нынешнего года и готовились принять тех, кто прибудет в следующем. Затем внезапно происходил «крах», «паника» и начинался период резкого спада, в течение которого темпы роста замедлялись в разы, а примерно половина возникших в годы бума ферм и предприятий разорялась. На третьем этапе, который мы назовем «спасение экспортом», на обломках рухнувшей экономики бума мучительно строилась новая, ориентированная на массовый экспорт сырья – пшеницы, хлопка или древесины – в далекую метрополию. Экономика восстанавливалась и продолжала развиваться, но гораздо более медленными темпами, и в некоторых отношениях связи с метрополией становились более тесными, а положение региона – более зависимым от нее, чем в годы первоначального бума.

Первые «полноценные» бумы, для которых были характерны взрывной рост экономики (а не только населения), приток денег (а не только мигрантов) и стремительное развитие городов (а не только сельских поселений), случились около 1815 года на Старом Северо-Западе и Старом Юго-Западе Соединенных Штатов, а также, возможно, в Верхней Канаде. Иногда эти

M. Taylor. Peopling the Pampa: On the Impact of Mass Migration to the River Plate, 1870–1914 // *Explorations in Economic History*. 1997. № 34. P. 100–132; A New Economic History of Argentina / eds. Gerardo della Paolera and Alan M. Taylor. New York, 2003.

⁶³ D. C. M. Platt. Canada and Argentina: The First Preference of the British Investor // *Journal of Imperial and Commonwealth History*. 1985. № 123. P. 77–92.

⁶⁴ Nicolas Spulber. Russia's Economic Transitions: From Late Tsarism to the New Millennium. New York, 2003. P. 7. См. также: Igor V. Naumov. The History of Siberia / ed. David N. Collins. London, 2006; Steven G. Marks. Road to Power: The Trans-Siberian Railway and the Colonization of Asian Russia, 1850–1917. Ithaca, NY, 1991; The History of Siberia: From Russian Conquest to Revolution / ed. Alan Wood. London, 1991; James Forsyth. A History of the Peoples of Siberia: Russia's North Asian Colony 1581–1990. New York, 1992.

⁶⁵ T. S. Fedor. Patterns of Urban Growth in the Russian Empire during the 19th Century. Chicago, 1975; John Foster Fraser. The Real Siberia, Together with an Account of a Dash through Manchuria. London, 1902. P. 38, 85–87; Mark Gamsa. California on the Amur, or the 'Zhelutga Republic' in Manchuria (1883–1886) // *Slavonic and Eastern European Review*. 2003. № 81. P. 236–266; Eva-Maria Stolberg. The Siberian Frontier between 'White Mission' and 'Yellow Peril', 1890s–1920s // *Nationalities Papers*. 2004. № 32. P. 165–181.

«взрывы» следовали за длительным периодом более медленной и постепенной колонизации. Например, колонии Западная Австралия и Британская Колумбия были основаны в 1820-х и 1840-х годах соответственно, но взрывной рост здесь начался лишь в восьмидесятых годах XIX века. Если определить бум как удвоение численности населения, начиная с достаточно заметной стартовой отметки (скажем, не менее 20 000 человек), максимум за десятилетие, то большинство западных американских штатов, большинство британских колоний, а также некоторые регионы Аргентины и Сибири как минимум однажды прошли полный трехступенчатый цикл. Более двух десятков таких случаев показаны в таблице 2.1. О некоторых деталях можно спорить, но свидетельства существования тенденции в целом кажутся вполне убедительными.

Триггером бума становилось массовое перемещение людей, денег, товаров, информации и навыков из одного или нескольких мегаполисов на соответствующий фронт. Поэтому для таких периодов характерно резкое увеличение активности всех средств массовой коммуникации: появление множества новых маршрутов кораблей, обозов или поездов; распространение новых банков, газет, почтовых отделений, специальной литературы для нужд переселенцев; организаций и бизнесов, ориентированных на мигрантов. Все это развивалось в основном в крупных городах. Если на месте будущего мегаполиса не проживало многочисленного коренного городского населения (такое население имелось, например, в случае Мехико), то для формирования достаточно большого города при обычных темпах роста требовалась пара столетий. А вот при взрывном росте – всего пара десятилетий. Многие из этих скороспелых городов, таких как Цинциннати или Виннипег, позже стали известными экспортными центрами, но в годы и десятилетия бума они были прежде всего воротами, через которые шел импорт в неуклонно растущие поселения фронта, а не поставщиками экспорта в далекую метрополию. Чикаго, главный из этих городов, играл одновременно обе роли, направляя вовне экспорт регионов, находившихся в упадке, и снабжая импортом процветающий фронт. Этим объясняются крайне высокие темпы его роста. Такие города-ворота могли находиться и за пределами политических границ тех развивающихся территорий, которые они обслуживали. «Воротами» процветающего Техаса в 1840-е и 1850-е годы был Новый Орлеан в штате Луизиана. Для Верхней Канады в 1815–1819 годах воротами служил Монреаль, находившийся в Нижней Канаде⁶⁶.

В годы бума расцветающие регионы могли по-прежнему экспортировать товары и даже находить новые статьи экспорта, но его объем в тот момент не имел особенного значения. Главной ставкой в экономической игре был сам рост как таковой: поощрение, направление и обновление потока людей, товаров и денег; доставка, расселение и поддержка иммигрантов; обеспечение всем нужным новых фермерских хозяйств; строительство городов, ферм и транспортной инфраструктуры; поставка стройматериалов и поддержка строительства. «Индустрия прогресса» – полезный термин, хорошо описывающий совокупность отраслей, обеспечивающих рост посредством роста⁶⁷.

Таблица 2.1. Периоды взлета, упадка и «спасения экспортом» в зонах освоения

⁶⁶ J. P. Baughman. The Evolution of Rail-Water Systems of Transportation in the Gulf Southwest 1826–1890 // *Journal of Southern History*. 1968. № 34. P. 357–381; Annie Germain and Damaris Rose. Montreal: The Quest for a Metropolis. Chichester, 2000. P. 24.

⁶⁷ Более полное описание конкретной «индустрии прогресса»: James Belich. Making Peoples: A History of the New Zealanders from Polynesian First Settlement to the End of the 19th Century. Auckland, 1996. Ch. 14.

Даты взлета-упадка	Регион	Город	Спасительный экспорт
<i>Соединенные Штаты</i>			
Первый взлет: 1815–1819	Старый Северо-Запад, старый Юго-Запад	Цинциннати, Новый Орлеан	Хлопок, консервированная свинина
Второй взлет: 1825–1837	Старый Северо-Запад, старый Юго-Запад	Цинциннати, Сент-Луис, Новый Орлеан	Хлопок, свинина, зерно
Третий взлет: 1845–1857	Старый Северо-Запад, Средний Запад, Техас, Калифорния	Сент-Луис, Чикаго, Сан-Франциско	Зерно, свинина, золото
Четвертый взлет: 1865–1873	Средний Запад	Чикаго	Зерно, свинина, скот
Пятый взлет: 1878–1887/1893	Средний Запад, Дальний Запад, запад Техаса	Чикаго, Денвер, Миннеаполис,	Зерно, охлажденная говядина
Шестой взлет: 1898–1907/1913	Дальний Северо-Запад, юг Калифорнии, Оклахома	Сиэтл, Лос-Анджелес	Зерно, древесина, фрукты
<i>Канада</i>			
Первый взлет: 1815–1819/1821?	Восточные кантоны? Части Онтарио	Монреаль	Древесина
Второй взлет: 1829–1837/1842	Онтарио, Нью-Брансуик	Торонто, Сент-Джон	Древесина
Третий взлет: 1844–1848	Онтарио	Торонто, Гамильтон	Пшеница, древесина
Четвертый взлет: 1851–1857	Онтарио	Торонто, Монреаль	Пшеница, сыр
Пятый взлет: 1878/1885–1883/1893	Манитоба, Британская Колумбия	Виннипег, Ванкувер	Пшеница
Шестой взлет: 1898–1907/1913	Британская Колумбия, провинции Прерий	Регина, Саскатун, Эдмонтон, Калгари	Пшеница, древесина

<i>Австралия</i>			
Первый взлет: 1828–1842	Тасмания, Новый Южный Уэльс	Хобарт, Сидней	Шерсть
Второй взлет: 1848–1867	Все (кроме Западной Австралии и Тасмании)	Мельбурн, Сидней, Аделаида	Шерсть, золото, пшеница
Третий взлет: 1872–1879/1891	Внутренняя часть штата Виктория и НЮУ, Квинсленд	Брисбен	Шерсть, пшеница, мясо, молочные продукты
Четвертый взлет: 1887?–1913	Западная Австралия	Перт	Золото, шерсть, пшеница
<i>Новая Зеландия</i>			
Первый взлет: 1850–1867	Южный остров	Данедин	Шерсть
Второй взлет: 1870–1879/1886	Южный остров, Северный остров	Окленд, Веллингтон	Мясо и молочные продукты
<i>Южная Африка</i>			
Первый взлет: 1855–1865	Капский полуостров	Порт-Элизабет	Шерсть
Второй взлет: 1870–1882	Капский полуостров	Кимберли, Ист-Лондон	Бриллианты
Третий взлет: 1886–1899	Капский полуостров, Наталь, Трансвааль	Кейптаун, Йоханнесбург	Золото
<i>Аргентина</i>			
Первый взлет: 1865–1873	Буэнос-Айрес	Буэнос-Айрес, Розарио	Шерсть
Второй взлет: 1878–1890	Буэнос-Айрес, Санта-Фе	Буэнос-Айрес	Зерно
Третий взлет: 1896–1913	Буэнос-Айрес, Санта-Фе, Ла-Пампа	Буэнос-Айрес, Кордова, Мар-Дель-Плата, Тукуман	Охлажденная говядина
<i>Сибирь</i>			
Первый взлет: 1885–1899	Центральная и Восточная Сибирь	Благовещенск	Пшеница
Второй взлет: 1906–1914	Восточная Сибирь, Дальний Восток	Чита, Владивосток, Харбин	Масло

Создание транспортной инфраструктуры было одним из важнейших элементов индустрии прогресса. Государственные или частные транспортные проекты, как правило, финансировались с помощью облигационных займов или огромных кредитов, предоставленных метрополией, но большинство остальных ресурсов были местными: работники, рабочие и сельскохозяйственные животные, продовольствие для тех и других, а также сырые стройматериалы, например древесина. Поэтому эти транспортные проекты имели двойное назначение: после завершения они упрощали коммуникации и доступ к рынкам, но также были ценными катали-

заторами бизнеса уже в процессе строительства. В этом втором смысле даже те дороги, каналы или железные дороги, которые впоследствии оказывались убыточными или были продублированы усилиями локальных конкурентов, не стали пустой тратой сил и ресурсов. В 1830-х годах сразу три разных города на озере Эри сумели убедить совет директоров канала Огайо сделать их конечными станциями одного и того же канала⁶⁸. Это в три раза повысило стоимость строительства канала и на треть уменьшило его эффективность, но при этом утроило «прогресс» – объемы рынков сельского хозяйства, фабричного производства и рабочей силы, возникших вокруг стройки. В разгар бума 1880-х годов в Аргентине «примерно 21 частная компания и три государственные транспортные линии конкурировали совершенно хаотическим образом». В результате к 1890 году «после многолетних усилий Аргентина могла похвастаться плохо скоординированной железнодорожной сетью с тремя различными ширинами колеи, с избытком путей в одних регионах и полным их отсутствием в других»⁶⁹. Некоторые наблюдатели объясняли этот кавардак чрезмерной экзальтированностью испанской природы, однако для железнодорожного бума в англоязычных странах были характерны те же самые проблемы, да и вообще: финансировали и проектировали большую часть аргентинских железных дорог в любом случае британцы.

Спешное строительство инфраструктуры в расцветающих регионах само по себе было огромной индустрией. По некоторым данным, в строительстве железных дорог Верхней Канады в 1850-е годы были непосредственно заняты целых 15 % трудоспособного мужского населения⁷⁰. В 1890-х годах Транссибирская железнодорожная магистраль внезапно «увеличила капитализацию сибирского промышленного производства примерно в двадцать раз»⁷¹. В Новой Зеландии в 1871–1900 годах строительство железных дорог обеспечивало более чем 40 % прироста капитала⁷². Экономика австралийской колонии Виктория в основном занималась тем, что в буквальном смысле строила саму себя. В 1888 году, на своем пике, рынок строительства жилья поглощал «чуть более четырех пятых всех частных инвестиций в колонии»⁷³. В Мельбурне строили из кирпича, но большинство городов фронта построены из дерева и, как правило, не единожды. «Сан-Франциско сгорал и был построен заново, по крайней мере, четыре раза»⁷⁴. Согласно одной оценке, в городах Канады и Соединенных Штатов между 1815 и 1915 годами произошло 290 крупных пожаров; Новая Зеландия и сибирские города тоже постоянно горели⁷⁵. Пожары, конечно, приносили убытки, но восстановление этих «одноразовых» городов еще больше способствовало подъему бизнеса.

Лесное хозяйство, которое поставляло строительные и упаковочные материалы, а также топливо для местного рынка, было еще одним ключевым элементом индустрии прогресса. Древесины в XIX веке использовалось очень много, тем более на фронтире – и тем более во время бума. Лишь 10 % из четырех тысяч американских локомотивов в 1859 году работали на угле; остальные топились дровами⁷⁶. То же самое было и с пароходами; аналогично дело обстояло и в Австралии, Канаде и Сибири. Региону, в котором за десять лет численность населения

⁶⁸ Harry N. Scheiber. *Ohio Canal Era: A Case Study of Government and the Economy, 1820–1861*. Athens, Ohio, 1969. P. 121–123.

⁶⁹ Alejandro Bendana. *British Capital and Argentine Dependence, 1816–1914*. New York, 1988. P. 143, 161.

⁷⁰ Douglas McCalla. *Planting the Province: The Economic History of Upper Canada, 1784–1870*. Toronto, 1993. P. 207.

⁷¹ Leonid M. Goryushkin. *The Economic Development of Siberia in the Late 19th and Early 20th Centuries // Sibirica*. 2002. № 2. P. 12–20.

⁷² G. R. Hawke. *The Making of New Zealand: An Economic History*. Cambridge, 1985. P. 68–69.

⁷³ E. A. Boehm. *Prosperity and Depression in Australia, 1887–1897*. Oxford, 1971. P. 138.

⁷⁴ J. S. Holliday. *Rush for Riches: Gold Fever and the Making of California*. Berkeley, CA, 1999. P. 183.

⁷⁵ По оценке J. G. Smith, опубликованной: Frederick H. Armstrong. *City in the Making: Progress, People and Perils in Victorian Toronto*. Toronto, 1988. P. 253; Rollo Arnold. *New Zealand's Burning: The Settlers' World in the Mid-1880s*. Wellington, New Zealand, 1994; W. Bruce Lincoln. *The Conquest of a Continent: Siberia and the Russians*. Ithaca, NY, 1994. P. 263.

⁷⁶ Michael Williams. *Americans and Their Forests: A Historical Geography*. New York, 1989. P. 156.

увеличивалась вдвое, требовалось в несколько раз больше жилых домов, административных, сельскохозяйственных построек и заборов, чем территориям, развивавшимся более умеренными темпами. Кроме того, древесина активно использовалась в горном деле и в транспортной инфраструктуре. Некоторые дороги (гати) выкладывались из поперечных бревен, уложенных на продольные деревянные лаги; мосты и телеграфные столбы были деревянными; каналам требовались деревянные распорки и тому подобное; даже железные дороги не могли обойтись без древесины – деревянных шпал, а также ограждений, не дававших скоту забредать на рельсы. На каждую милю железнодорожных путей требовалось 2640 деревянных шпал, которые приходилось менять каждые шесть лет или около того. Стоит добавить сюда миллионы деревьев, которые просто вырубали и сжигали, чтобы расчистить поля, и несложно понять, почему периоды подъема буквально пожирала древесину. Американский бум 1850-х годов уничтожил лес размером с Англию – сорок миллионов акров (больше 16 миллионов га)⁷⁷. Лесная промышленность во времена бума была огромной индустрией, даже если объем экспорта древесины оставался скромным.

Третий ключевой элемент индустрии прогресса – это сельское хозяйство и развитие фермерства в периоды подъема. Во время бума 1850-х четверть сельскохозяйственных работников американского Запада фактически занималась расчисткой земель и строительством ферм – то есть не собственно выращиванием продовольствия, а *созданием условий* для него⁷⁸. Фермеры с небольшим капиталом часто занимались несельскохозяйственными работами как в сельской местности, так и в городах, а бум означал, что работы вокруг полно. «Фермеров» можно было найти на строительстве дорог, каналов, укладке железнодорожного полотна или даже на фабриках. Они либо использовали для такой работы межсезонье, либо оставляли собственно хозяйство на своих домашних во главе с крепкими сельскими женщинами. Другие фермеры нанимались сезонными рабочими на предприятия лесной промышленности или сами занимались поставками древесины в качестве «побочного бизнеса». Экономический подъем сам по себе создавал спрос на побочную продукцию и на рабочую силу фермеров; то же самое верно и для их сельскохозяйственных продуктов.

Историки сельского хозяйства склонны считать, что сельское хозяйство поселенцев более или менее непосредственно переходило от полунатурального хозяйства пионеров к экспорту на отдаленные территории. Иногда упоминается стадия «рынка поселенцев» (*settler's market*) или «палаточного рынка» (*shanty market*), но ей редко придается большое значение. На самом деле фермы периода бума были весьма прибыльными и динамичными, однако рынок оставался локальным. Впрочем, при этом он был также обширным и разнообразным, и его рост мог длиться до пятнадцати лет. Толпы разношерстных рабочих, занятых в строительстве и в деревообрабатывающей отрасли, в огромных количествах потребляли мясо, хлеб, алкоголь и кожу – и это же относится и к горожанам, и к фермерам-иммигрантам, налаживающим свое хозяйство. Последним также требовалось множество животных для разведения и семян для посадки – все это создавало огромный рынок «товарных запасов». Кроме того, у сельского хозяйства фазы подъема была еще одна характерная сторона. Критически важной, но до странности редко упоминаемой категорией товаров были рабочая скотина и корм для нее. Более половины всей рабочей силы в Соединенных Штатах 1850 года составляли лошади, которые выращивались на фермах. Спрос на лошадей и волов был особенно высок на фронтах периода подъема. В 1821 году, до наступления бума, в Новом Южном Уэльсе одна лошадь приходилась на восемь человек. Во время взлета в 1851 году одна лошадь приходилась уже на каждых полтора чело-

⁷⁷ David E. Nye. *America as Second Creation: Technology and Narratives of New Beginnings*. Cambridge, MA, 2003. P. 193; Williams. *Americans and Their Forests*. P. 344–347, 354.

⁷⁸ Lance E. Davis and Robert E. Gallman. *Capital Formation in the United States during the Nineteenth Century // The Cambridge Economic History of Europe* / eds. Peter Mathias and M. M. Postan. Cambridge, 1978. P. 56.

века⁷⁹. В Британии в то же самое время соотношение составляло около двенадцати человек на лошадь⁸⁰. В штате Южная Каролина, где подъема в 1860 году не наблюдалось, на четырех с половиной человек приходилось примерно одно рабочее животное. Во время бума в штате Техас этот показатель составил 1:1⁸¹. В Сибири насчитывалось восемьдесят пять лошадей на сто человек, гораздо больше, чем в европейской части России, а в Аргентине – 115 лошадей на сотню людей⁸². Рабочим животным, как правило, не давали свободно пастись (на это ушло бы слишком много времени), и им требовался готовый корм – овес, сено, кукуруза; фермеры поставляли и это тоже. В годы бума кормовых культур часто сеяли больше, чем пшеницы. Фактически фермеры XIX века были не просто фермерами, но и поставщиками «рабочих машин» и «топлива» для них.

Среди других элементов или стимулов индустрии прогресса можно назвать приток финансов, иммигрантов и импортных товаров – каждая из этих отраслей сама по себе была огромным бизнесом. Добывающие отрасли, такие как китобойный промысел, добыча пушнины и шкур, возможно, развивались и до подъема, но начинали резко расти вместе с ним, часто приводя к полному истреблению объекта охоты в той или иной местности. Именно во время четвертого и пятого бума в Америке были почти полностью уничтожены бизоны. «Лихорадка» добычи ценных ископаемых, в частности золота, часто сопровождала период бума, но редко вызывала его. Австралийская Виктория и Южный остров Новой Зеландии находились на подъеме еще до великих открытий золотых жил в 1851 и 1861 годах; то же самое верно и для различных сибирских «Калифорний» 1880–1890-х годов. Даже если взять Калифорнию 1848 года, то золотая лихорадка началась с лесопилки Саттера, где случайно было обнаружено первое золото, а не с какой-нибудь уже существующей шахты. Войны с коренными народами (и с европейскими колонистами предшествующей эпохи) иногда также подпитывали индустрию прогресса: десятки фортов, тысячи солдат и миллионы долларов подливали масла в огонь взрывного развития.

Периоды резкого падения, называемые также «крахом» или «паникой», представляют собой наиболее бросающиеся в глаза особенности цикла развития поселений – можно сказать, верхушку айсберга. Американский Запад испытал по крайней мере пять больших циклов взлета, упадка и спасения экспортом, пиками которых были крахи 1819, 1837, 1857, 1873 и 1893 годов. Новый подъем, сменившийся падением в 1913 году, пожалуй, можно считать за два цикла, если учесть крах 1907 года. Первые периоды упадка отражались и на Канаде, затем между 1860 и 1890 годами она испытывала лишь незначительные взлеты, а в период с 1897 по 1913 год ее западные прерии снова начали неудержимо развиваться. Южная Африка «обрушивалась» в 1865, 1882 и 1899 годах; Австралия – в 1842, 1866 и в начале 1890-х; Аргентина – в 1873, 1890 и 1913-м, а Сибирь испытала по крайней мере одну большую катастрофу в 1899–1900 годах. Были и локальные вариации: Южный остров Новой Зеландии «рухнул» в 1879–1880 годах, Северный – в 1886-м.

Мало кто из экономических историков будет отрицать, что эти периоды действительно имели место; более того, некоторые вспомнят и другие даты. И все же существует тенденция преуменьшать значение фазы упадка спорами по поводу того, можно ли технически считать ее периодом депрессии, при которой снижается реальная заработная плата, а в экономике начина-

⁷⁹ *Glen McLaren. Big Mobs: The Story of Australian Cattleman. Fremantle, Australia, 2000. P. 115; Malcolm J. Kennedy. Hauling the Loads: A History of Australia's Working Horses and Bullocks. Melbourne, 1992. P. 67.*

⁸⁰ *F. M. L. Thompson. Nineteenth-Century Horse Sense // Economic History Review. New series. 1976. № 29. P. 60–81.*

⁸¹ *R. B. Lamb. The Mule in Southern Agriculture. Berkeley, CA, 1963.*

⁸² *Fraser. The Real Siberia. P. 50; Roy Hora. The Landowners of the Argentine Pampas: A Social and Political History, 1860–1945. Oxford, 2001. P. 59–60.*

ется застой⁸³. Мы часто обнаруживаем, что падение цен компенсируется падением заработной платы, так что реальный доход на душу населения остается на прежнем уровне, а в экономике в целом наблюдается даже незначительный рост. Однако вне зависимости от того, являются эти периоды техническими депрессиями или нет, они в свое время стали точками перелома. Они тормозили темпы роста. Во время бума население Милуоки в течение трех лет (1855–1857) выросло на 44,5 %, а за три года упадка (1858–1860) – всего на 2,8 %⁸⁴.

Фермерские хозяйства и промышленные предприятия разорялись пачками. В 1819 году полегла половина из тех сотен мелких, с одним отделением, американских банков, что были основаны в первом десятилетии XIX века⁸⁵. Австралийский кризис 1891 года вынудил закрыться 54 из 65 крупных банков, причем 34 из них закрылись навсегда⁸⁶. Во время краха 1893 года в Америке закрылось 573 банка и 8105 крупных предприятий⁸⁷. После южноафриканского краха 1865 года, по утверждению современников, «вся Южная Африка была банкротом»⁸⁸. Около четырехсот аргентинских и англо-аргентинских компаний обанкротились в 1873–1877 годах, и по крайней мере еще три сотни присоединились к ним с началом периода упадка 1890 года⁸⁹. Кризис 1900 года вывел из игры как минимум 55 крупных сибирских предприятий⁹⁰.

Что касается фермеров, то на Среднем Западе между 1830 и 1890 годами фаза упадка наступала четыре раза. «Независимо от возраста сообщества спустя десять лет из него исчезало от 50 до 80 % любой новой группы фермеров»⁹¹. В некоторых регионах Приморских провинций Канады с началом упадка в начале 1840-х годов около половины фермеров были вынуждены покинуть свои фермы⁹². Небольшие городки тоже постоянно превращались в города-призраки. «Из более чем сотни городков, основанных между 1884 и 1888 годами в округе Лос-Анджелеса, 62 существуют лишь в форме захолустных поселков, сельскохозяйственных земель или пригородов»⁹³. Некоторые полагают, что города-призраки – это чисто американское явление, но и в Новой Зеландии, например, насчитывается 240 таких заброшенных поселений⁹⁴.

Во времена упадка, который продолжался от двух до десяти лет, руины экономики, как правило, постепенно собирались в новую систему, меньшую по размаху, но более устойчивую и надежно опирающуюся на «спасительный экспорт». Основной задачей экономики становился не рост, а массовый экспорт одного-двух сырьевых товаров на один-два крупных рынка.

⁸³ Пример таких прений на материале Австралии: *Philip McMichael*. *Settlers and the Agrarian Question: Foundations of Capitalism in Colonial Australia*. New York, 1984. P. 175–180, а также: *Barrie Dyster*. *The 1840s Depression Revisited // Australian Historical Studies*. 1993. № 25. P. 589–607. Новозеландский пример: *James Belich*. *Paradise Reforged: A History of the New Zealanders from the 1880s to the Year 2000*. Auckland, New Zealand, 2001. P. 32–38. Американский пример: *Charles W. Calomiris and Larry Schweikart*. *The Panic of 1857: Origins, Transmission, and Containment // Journal of Economic History*. 1991. № 51. P. 807–834.

⁸⁴ *Douglas E. Booth*. *Transportation, City Building, and Financial Crisis: Milwaukee, 1852–1868 // Journal of Urban History*. 1983. № 9. P. 335–363.

⁸⁵ *Thomas Cochran*. *Frontiers of Change: Early Industrialization in America*. New York, 1981. P. 31.

⁸⁶ *S. J. Butlin*. *British Banking in Australia // Royal Australian Historical Society Journal and Proceeding*. 1963. № 49. P. 81–99.

⁸⁷ *Carroll Van West*. *Capitalism on the Frontier: Billings and the Yellowstone Valley in the 19th Century*. Lincoln, NE, 1993. P. 196.

⁸⁸ Цитируется по: *Henry Slater*. *Land, Labour and Capital in Natal: The Natal Land and Colonisation Company, 1860–1948 // Journal of African History*. 1975. № 16. P. 257–283.

⁸⁹ *Lance E. Davis and Robert E. Gallman*. *Evolving Financial Markets and International Capital Flows: Britain, the Americas, and Australia, 1865–1914*. Cambridge, 2001. P. 653–654; *Donna J. Guy*. *Dependency, the Credit Market, and Argentine Industrialization, 1860–1940 // Business History Review*. 1984. № 58. P. 532–561.

⁹⁰ *Goryushkin*. *The Economic Development of Siberia*.

⁹¹ *Allan G. Bogue*. *Farming in the Prairie Peninsula, 1830–1890 // Journal of Economic History*. 1963. № 23. P. 3–29.

⁹² *T. W. Acheson*. *The 1840s: Decade of Tribulation // The Atlantic Region to Confederation. A History / eds. Phillip A. Buckner and John G. Reid*. Toronto, 1994. P. 311.

⁹³ *Glen S. Dumke*. *The Boom of the Eighties in Southern California*. San Marino, CA, 1944. P. 175.

⁹⁴ *Darrel E. Bigham*. *Towns and Villages of the Lower Ohio*. Lexington, KY, 1998. P. 4; *David McGill*. *Ghost Towns of New Zealand*. Wellington, New Zealand, 1980.

Экономика коренным образом перестраивалась. Мелкие фермеры, пережившие крах, скупали земли менее удачливых соседей, а большие хозяйства дробились на более мелкие, и в результате обоих процессов появлялись более жизнеспособные фермы среднего размера. Фабричное производство замирало, зато предприятия по обработке и поставкам сырья часто консолидировались в гигантские мясоперерабатывающие, мукомольные, железнодорожные и судоходные компании и картели. И в производстве, и в обработке и поставках сырья успех в какой-то степени строился на неудачах конкурентов, потерпевших крах. Активы последних можно было скупать за бесценок. Подобные двусторонние инвестиции демонстрируют, что взрывное освоение новых территорий стимулировалось не только бумом, но и крахом.

Спасительный экспорт иногда принимал форму резкого увеличения объемов уже существующего экспорта, где массовость поставок компенсировала низкие цены. Экспорт древесины из Канады в Великобританию, и так уже довольно масштабный в 1842 году – 265 000 тонн, – после начавшегося в том же году упадка вырос и в 1845-м составил 608 000 тонн⁹⁵. Объемы производства хлопка на американском Юге в 1818 году не достигали 60 000 тонн, а из-за начавшегося в 1819-м кризиса подскочили к 1826 году до 166 тысяч тонн. Иногда появлялись и новые отрасли экспорта, как, например, железнодорожные перевозки скота, потоком хлынувшего со Среднего Запада на Восток Америки после 1857 года, или охлажденное мясо из Австралии, впервые наводнившее рынок Великобритании в 1880-х. Производство, обработка и транспортировка сырья теперь стали главными столпами поселенческой экономики.

В отличие от периодов бума, которые имеют начало и конец, для фазы спасительного экспорта характерны неопределенные границы и кумулятивность. Со Среднего Запада на Северо-Восток прошли четыре последовательных волны экспорта. После 1819 года через Новый Орлеан в восточные штаты начали поставлять консервированную свинину и зерно с запада; после 1837-го – пшеницу, теперь уже через Великие озера и их каналы; после 1857 года везли скот по железной дороге; после 1873-го – мясо в вагонах-холодильниках. Австралия после каждого из трех своих периодов упадка начинала поставлять в Великобританию шерсть, пшеницу и мясо соответственно, да и Аргентина во многом прошла по тому же самому пути. Каждый новый продукт экспорта скорее дополнял, чем вытеснял предшествующие продукты. Темпы роста в период спасения экспортом были намного ниже, чем во время подъема, но все же могли оказаться вполне приличными, и средний реальный доход после того, как миновал пик кризиса, чаще всего начинал понемногу расти.

Спасение экспортом очень редко начиналось легко или в полном соответствии с заранее намеченным планом; все время приходилось решать всё новые проблемы: цены были низкими, а поставки неустойчивыми; громоздкий товар приходилось доставлять на большие расстояния, и часть его неизбежно портилась. Низкие цены пытались компенсировать увеличением объемов поставляемого товара. Неустойчивость сельскохозяйственных поставок мяса и молока была явлением до некоторой степени неизбежным, поэтому периоды спасения экспортом стимулировали появление мясоперерабатывающих заводов, маслобоен и сыроварен, а также совершенствование системы классификации и контроля качества. С громоздкостью сырья справлялись самыми различными способами: появились модернизированные прессы, уменьшавшие объем кип хлопка и шерсти, а силосные башни и элеваторы упрощали обработку и транспортировку зерна. Быстрая порча всегда была сложной проблемой мясного экспорта, но решения этой проблемы появились в 1820-х годах, когда были изобретены более совершенные технологии засолки и консервирования свинины; в 1870-х в железнодорожных вагонах начали использовать природный лед для охлаждения говядины; а в 1880-х годах на грузовых судах были установлены механические системы охлаждения баранины и ягнятины. Сырьевые товары, кроме того, приходилось фасовать, рекламировать и доставлять в точки

⁹⁵ D. L. Burn. Canada and the Repeal of the Corn Laws // *Cambridge Historical Journal*. 1929. № 2. P. 252–272.

продажи именно в то время, когда на них имелся спрос. Жители Лондона ожидали, что новозеландскую весеннюю ягнятину им доставят весной – но весной английской, а не новозеландской⁹⁶. Канада поставляла на британский рынок сыр чеддер и уилтширскую ветчину⁹⁷.

Основной особенностью спасительного экспорта было покорение огромных расстояний. Периоды бума оставляли за собой слишком много железнодорожных путей и судоходных маршрутов. С началом кризиса железнодорожные и судоходные компании бросались сокращать расходы, что, как правило, вдвое снижало цену на перевозки. В числе примеров можно привести пароходные линии на Миссисипи после кризиса 1837-го, железные дороги в Соединенных Штатах после краха 1873 и 1893 годов, а также морское судоходство после австралийских кризисов 1842-го и 1891-го. Эта тенденция в сочетании с техническими инновациями, такими как более совершенные корпуса и паровые машины, стимулировала увеличение размера пароходов. Ниточки, связующие метрополию и ее дальние рубежи, превратились, образно говоря, в мосты из стальных тросов, что полностью изменило весь характер массовой перевозки грузов. Лондон и Нью-Йорк стали в 1900 году самыми большими городами в мире отчасти из-за этих, позволительно сказать, дальних предместий, отстоявших от метрополии на огромное расстояние, но фактически приблизившихся благодаря взрывному росту населения и системе спасительного экспорта. Теперь метрополия ожидала от «Дикого Запада» не колониальных товаров, экзотических предметов или поддержки в неурожайные годы, но в буквальном смысле хлеба – и мяса – насущного.

Поток поставок должен был быть абсолютно непрерывным и четко настроенным на спрос. Требовалось, чтобы обе стороны системы сидели друг у друга в пазах идеально, как две половинки аккуратно разбитого стекла. Как предсказывали многие американские отцы-основатели, говоря о «цементе интересов», который укрепит связи внутри союза бывших колоний, экономическая интеграция способствовала другим формам интеграции, и наоборот. Но такие связи могли протянуться и через Атлантику, через Тихий океан и Уральские горы, а не только через Аппалачи. Обширные и регулярные поставки сырья и текущий в обратную сторону поток печатных изданий и фабричных изделий на удивление крепко связали Великобританию с ее рассеянным по всему миру «Западом», создав неофициальную, но самую что ни на есть настоящую «Большую Британию» – это произошло приблизительно в 1850–1950 годах. Жители доминионов считали себя «совладельцами» Британской империи, а не просто ее подданными; высокий уровень жизни и легкий доступ к лондонским деньгам, а также рынкам труда и продовольствия в масштабах всей империи позволяют предположить, что в чем-то они были правы.

Как ученые работают с темой взрывного расцвета фронтиров и его необычной ритмичностью? Экономические историки, например Саймон Кузнец, давным-давно отметили «циклический» характер развития американского Запада. Кузнец предложил использовать модель, перекликающуюся с испытанной схемой трех-четырёхгодичных экономических циклов, увеличив временной масштаб до пятнадцати – двадцати пяти лет, что отлично согласуется с выявленным нами ритмом развития новых регионов. Спрос и предложение опережали друг друга, но это были спрос и предложение в области капитальной инфраструктуры, например в строительстве железных дорог, а не в области потребительских товаров, как в случае коротких бизнес-циклов. Бум начинался, когда предложение этих дорогих инфраструктур с трудом угонялось за спросом. Упадок наступал, когда предложение запаздывало по отношению к спросу, что нередко случалось, если строительные проекты затягивались на пять или более лет. Но

⁹⁶ *Belich. Paradise Reforged. Ch. 2.*

⁹⁷ Robert Ankli. Ontario's Dairy Industry, 1880–1920 // *Canadian Papers in Rural History*. 1992. № 8. P. 261–275; *Derrick Rixson. The History of Meat Trading*. Nottingham, UK, 2000. P. 264.

Кузнец полагал, что рассматриваемые им циклы зародились в 1840-е годы и ограничивались Соединенными Штатами, и не склонен был говорить ни о причинах их возникновения, ни о «спасении экспортом».

Однако другие ученые все же рассматривали тему экспорта – и прежде всего канадский экономист Гарольд Иннис, автор «сырьевой теории»⁹⁸. Ее суть такова: экономическое развитие в переселенческих сообществах основывалось на экспорте в метрополию одного-двух базовых товаров. Эти экспортные товары различались по своей способности порождать связи (*linkage effect*) – то есть по тому, в какой степени они стимулировали появление дополнительных аспектов развития, таких как индустриализация и урбанизация. Товары со слабой такой способностью – скажем, пушнина или треска – подобных связей почти не создавали. Но если эта способность была высокой, как, например, у пшеницы или мяса, ситуация оказывалась обратной. Тем не менее сырьевой подход мало что может рассказать о периодах подъема и упадка. И теория циклов, и сырьевая теория полезны для понимания одной или двух ступеней в ритме развития фронтиров, однако обе они мало что могут нам рассказать обо всех трех и, следовательно, о ритме как таковом.

Социальные историки, занимающиеся поселенческими обществами, часто упоминают о периодах бума и краха, но не дают им сколько-нибудь постоянного определения и не рассматривают их влияние или общий цикл во всей его полноте, а также, как правило, лишь вскользь касаются экономической истории. За последние десятилетия произошли кое-какие давно ожидаемые изменения в историографии самого большого из фронтиров – американского Запада. Ряд «новозападных» историков, будь то «регионалисты», делающие акцент на конкретике отдельной местности, или «неотернерианцы», которые подчеркивают важность процесса как такового, напомнили, что запад США был населен вовсе не одними только белыми мужчинами. В некоторых случаях они также преодолели американскую убежденность в собственной исключительности и сравнили ситуацию на фронтире США с новыми рубежами других регионов мира. Уильям Кронон, Ричард Уайт, Эллиотт Уэст и замечательный исторический географ Д. У. Мейниг провели особенно интересные исследования, в которых использован богатый междисциплинарный «экологический» подход и даже затронуты вопросы экономической истории, которая и в самом деле слишком важна, чтобы ею занимались одни только экономисты⁹⁹. Тем не менее кажется, что даже этим исследованиям все же немного не хватило глубины для полного раскрытия темы ритма. Бум, крах, спасение экспортом, а также последовательность и взаимовлияние всех трех фаз – независимо от того, какими именно терминами они называются, – упоминаются в данных работах не так часто, как следовало бы.

Изучение ритма развития поселенческих сообществ имеет немалую ценность даже за пределами экономической истории, поскольку периоды подъема, упадка и спасения экспортом не были исключительно экономическими факторами; они оказали серьезное влияние на формирование общества, культуры, на гендеры и этнические вопросы. Например, во времена подъема, помимо экономики города и фермы, появлялась еще и экономика временного поселенческого лагеря, в котором находили пристанище бессемейные мужики-бродяги, рабочая сила индустрии прогресса: лесорубы, землекопы, шахтеры, солдаты, матросы и тому подобное. У этих людей была собственная, грубоватая и изменчивая, но все же не полностью лишенная правил субкультура, которую я в другой своей работе назвал «культурой бригады»¹⁰⁰. Когда бум заканчивался, относительная важность этих сообществ уменьшалась и их члены часто ста-

⁹⁸ *Harold Innis. Staples, Markets and Cultural Change: Selected Essays / ed. Daniel Drache. Montreal, 1995.*

⁹⁹ *Richard White. «It's Your Misfortune and None of My Own»: A History of the American West. Norman, OK, 1991; Elliott West. The Contested Plains: Indians, Goldseekers, & the Rush to Colorado. Lawrence, KS, 1998; D. W. Meinig. The Shaping of America: A Geographical Perspective on 500 Years of History. 4 vols. New Haven, CT, 1986–2004; William Cronon. Nature's Metropolis: Chicago and the Great West. New York, 1991.*

¹⁰⁰ *Belich. Making Peoples. Ch. 16.*

новились адептами одного из социальных проповеднических движений, таких, например, как общества трезвости, отчасти мотивированные чувством вины, похмельем разгульной жизни во времена бума. Другая иллюстрация неэкономического влияния периодов роста – последствия, которые этот рост имел для коренных жителей фронта. На удивление большое число коренных народов достаточно успешно адаптировались к притоку европейских поселенцев, пока тот шел обычными темпами, – они либо взаимодействовали с новоприбывшими, либо сопротивлялись им, причем силы сторон были более или менее равны. Но когда начинался взлет, то независимость коренных жителей, как правило, заканчивалась. Сиу, команчи, модоки и непере в США, метисы в Канаде, маори Новой Зеландии, аборигены Тасмании и Квинсленда, коса в Африке, арауканцы аргентинских пампасов – все они могут послужить примерами. Эти народы сумели приспособиться к постепенной европейской колонизации, однако *взрывное* освоение фронта оказалось для них чересчур, и, учитывая высоту человеческого цунами, которое обрушилось на местные племена, их сопротивление было заранее обречено. Игнорировать циклы взлета, упадка и спасения экспортом, излагая историю поселенческих сообществ и их борьбы с коренными жителями, – это все равно что не упомянуть ветер в рассказе о морском путешествии или забыть о смене времен года в истории сельского хозяйства.

Принимать этот ритм во внимание очень важно еще и потому, что он помещает историю колоний XIX века в новый контекст и помогает нам понять, *как именно* происходило взрывное расселение. Однако этот ритм не объясняет, *почему* оно происходило. Почему продвижение на фронт вдруг пошло совсем другим темпом примерно в 1815 году? Почему оно происходило в циклической форме судорожных всплесков подъема, упадка и спасения экспортом? Почему оно началось в англоязычной Северной Америке и долго оставалось *англопервичным*, пусть и не исключительно англоязычным? Половины короткого эссе никак не хватит, чтобы хоть сколько-нибудь полно ответить на эти вопросы. Однако кое-что мы сделать можем, а именно – кратко рассмотреть три наиболее явных причины: социальные институты, экспорт сырья и индустриализацию, – а затем добавить к ним еще три менее очевидных фактора.

Прежде чем обратиться к возможным объяснениям, мы должны, с одной стороны, подчеркнуть, что мы ни в коем случае не хотим скатиться в бездумную англоцентричность, но с другой – вынуждены признать тот неоспоримый факт, что взрывное расселение в самом деле, кажется, сильнее всего затронуло англоговорящие территории. Прошлые поколения британских и американских писателей с гордостью и восторгом предлагали свои объяснения успеха трансатлантической цивилизации в сфере колонизации (как и во многих других сферах). Объяснения подобного рода колеблются от воспевания англосаксонской расы до черчиллевских лестных афоризмов в адрес англоговорящих народов, и все эти объяснения сегодня уже нельзя принимать всерьез. Однако, пусть взрывное расселение было отнюдь не исключительно англоязычным, оно было, повторим, англопервичным. Отдельные периоды подъема и упадка в Сибири и Аргентине совершенно походили на таковые в англоязычных регионах, как и сибирский период «спасения экспортом», продолжавшийся вплоть до 1917 года. Миллионы тонн пшеницы и масла в 1914 году вливались в стремительно индустриализующийся Санкт-Петербург почти совершенно так же, как американский Запад в свое время кормил Нью-Йорк, а британские колонии – Лондон. Аргентина тоже поддерживала Лондон в качестве «приемного доминиона», пока Оттавское соглашение 1933 года не провозгласило, что Аргентина на самом деле – Золушка среди британских сестер-колоний. Но периоды подъема в Аргентине и Сибири начались позже и были не столь масштабны, как на англоязычных территориях, а «спасение экспортом» там закончилось раньше. Нам нужны объяснения, которые не будут ни отрицать, ни преувеличивать, ни воспевать заметную роль англоязычных стран во взрывном развитии колоний XIX века.

На объяснения, связанные с определенными институтами, особенно легко нанести лак англоцентризма, и некоторые из них, возможно, этого и заслуживают. Однако в целом нам необходимо серьезно отнестись к возможности того, что в Великобритании развилась чрезвычайно приспособленная к экспансии система институтов, которая затем была успешно пересажена в поселения фронта. Этот набор институтов включает в себя англосаксонскую правовую систему (*common law*), в рамках которой защищается и право собственности, практика взыскания задолженности и в конечном итоге патентное право; систему представительной власти, которая даже в условиях ограниченного избирательного права (только для мужчин) способствует ослаблению автократии и укреплению общественного согласия, а также дает право голоса вновь возникающим социальным группам; и, возможно, неконформистский протестантизм с его необычной этикой экономии (если даже оставить в стороне трудовую этику), более подробно разработанный и легче применимый в вопросах организации, чем католицизм или англиканство. Можно добавить сюда тенденцию английских колонистов «клонировать» свои поселения, создавая всё новые небольшие автономные политические сообщества, а не расширяя и укрупняя старые.

Необязательно целиком принимать тезис о том, что английские поселенцы в принципе с большей готовностью принимали различные перемены, чем испанские¹⁰¹, но надо признать, что между ними с самого начала возникли ясные институциональные различия. Испанская Америка была консолидирована в два – а позднее в три – огромных вице-королевства; англичане в высшей степени децентрализованно расселялись по десяткам колоний. Таким образом, представительная власть здесь обладала большим весом, а относительно легкая возможность получить землю в собственность расширяла границы избирательного права, построенного на основе землевладения. В XIX веке децентрализация позволила вновь образованным автономным территориям, штатам и колониям занимать средства на развитие и продвигать себя как независимые бренды. Действительно, институты могли тут сыграть определенную роль; вопрос в том, какую именно. Опять же, в рамках данного эссе нам на этот вопрос ответить не удастся, но мы можем вкратце обсудить его, обратив взгляд на неанглоговорящие территории. Никто еще не обвинял царскую Россию конца XIX столетия во внезапном введении англосаксонской правовой системы, представительной власти, протестантизма или регионального самоуправления – и уж точно не всего этого одновременно. Английские институты, возможно, помогли английским колониям перейти от циклов подъема и спасения экспортом к долгосрочной стабильности и процветанию. Но они не могут объяснить сам феномен взрывной колонизации в глобальном масштабе.

Другое объяснение предлагает сырьевая теория. После 1815 года индустриализация и урбанизация в Великобритании и на американском Северо-Востоке способствовали росту спроса на сырье. Заметив это, утверждает теория, разумные поселенцы и инвесторы вложили все силы и деньги в англоязычные фронтиры, чтобы предоставить промышленности необходимые сырьевые товары. Экспорт сырья был, без сомнения, ключевой частью «спасения экспортом». Но предположение о том, что периоды бума были запланированными заранее этапами развития сырьевых поставок, наталкивается на определенные возражения. Во-первых, чаще всего спасительный экспорт зависел от технических инноваций и меняющегося спроса в метрополии; и то, и другое нелегко предсказать. Возможно ли, чтобы поселенцы, которые устремились на старый Северо-Запад США в 1815 году, предугадали снижение объемов производства пшеницы в своей северо-восточной метрополии? Массовое появление сначала каналов, а затем железных дорог, которые связали фронт с метрополией? Изобретение силосных башен и элеваторов,

¹⁰¹ Claudio Veliz. *The New World of the Gothic Fox: Culture and Economy in English and Spanish America*. Berkeley, CA, 1994; J. V. Fifer. *The Master Builders: Structures of Empire in the New World*. Durham, UK, 1996; J. H. Elliott. *Empires of the Atlantic World: Britain and Spain in America, 1492–1830*. New Haven, CT, 2006 (см., например, стр. 206).

которые способствовали укреплению этих связей? Неужели они могли бы предсказать отмену британских хлебных законов в 1846 году, что подарило им огромный дополнительный рынок сбыта?

На самом деле фермеров времен бума экспорт, как правило, не слишком беспокоил: динамичность локального рынка позволяла им вообще не думать об этом. Упадок же стимулировал отчаянные эксперименты и инновации, что в конечном счете запускало спасительный экспорт. Выходит, периоды расцвета порождали периоды упадка, а те, в свою очередь, стимулировали спасительный экспорт. При этом ни сам экспорт, ни какие-либо надежды на него в будущем почти никогда не были драйверами бума – за исключением разве что хлопкового экспорта со старого Юго-Запада Америки.

Еще одно возражение против теории рационального сырьевого экспорта – само явление краха и последующего упадка. Экспорт спасал поселенческую экономику в целом, но не раньше, чем крах уничтожал до половины всех процветавших хозяйств и предприятий. Экономика фронта строилась на горах финансовых трупов, и ее формирование скорее напоминало копошение коралловых полипов, чем действия рациональных игроков.

Более перспективное объяснение поселенческого взрыва XIX века – сочетание двух факторов: потенциально богатые окраины и наступление промышленной революции. Такая теория, конечно, тешит англофильскую предвзятость, поскольку объясняет, почему бум на англоязычных фронтах случился раньше, чем на остальных. И у России, и у стран испаноязычной Америки имелись огромные окраинные регионы, но промышленная революция пришла в эти страны сравнительно поздно. С Францией и Бельгией дело обстояло ровно наоборот. Только в английских колониях сошлось и то, и другое. Лишь к началу 1870-х годов в Аргентину, а спустя десять лет и в Сибирь пришли новые транспортные технологии (железная дорога), положившие начало взрывному развитию этих регионов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.